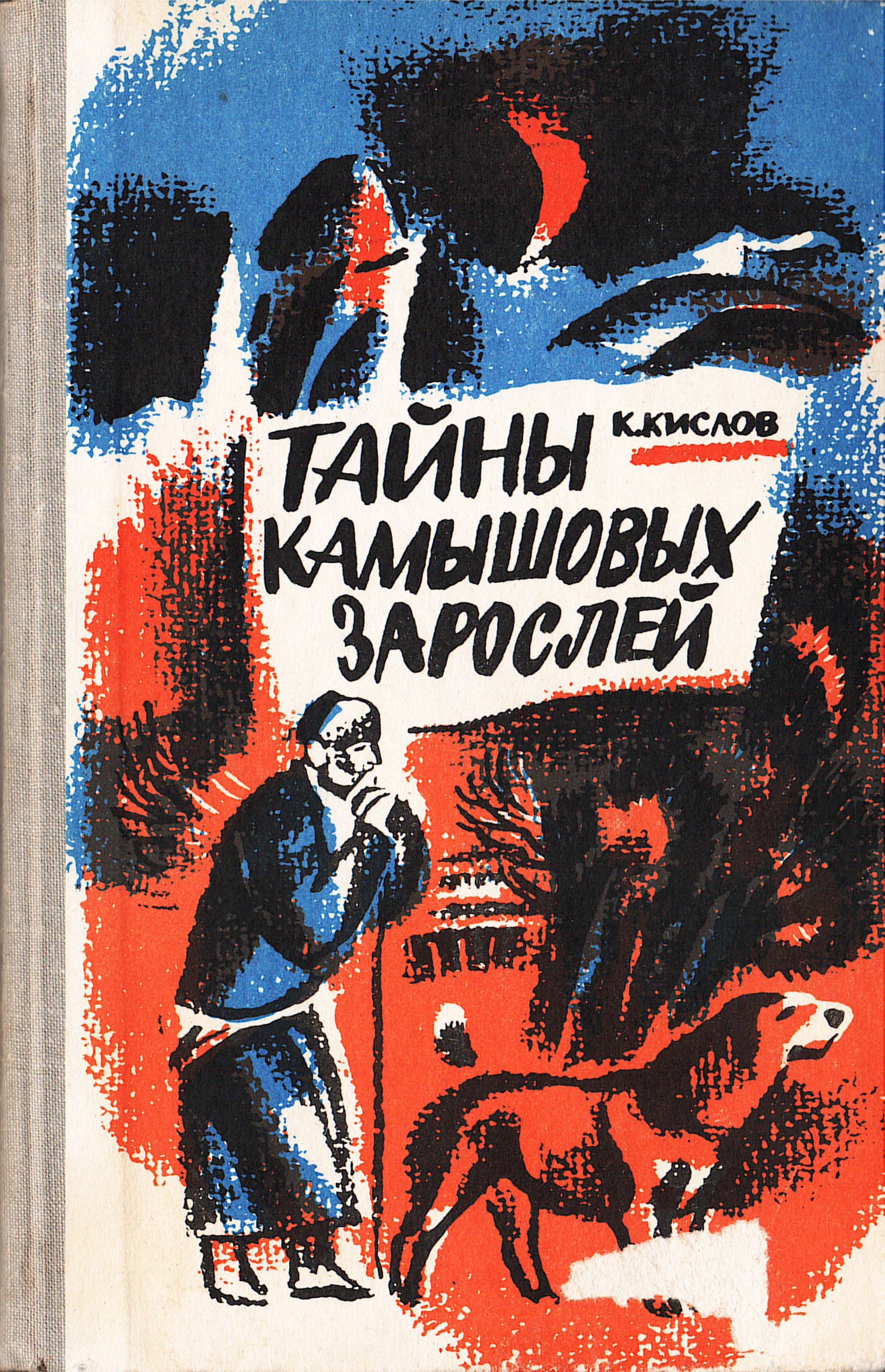

К. КИСЛОВ
ТАЙНЫ
КАМЫШОВЫХ
ЗАРОСЛЕЙ





ГОРЬКИЙ ВОЛГО-ВЯТСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1983

ББК84Р7
К44

Рецензент
член Союза писателей СССР
В. В. Харчев

К. Кислов

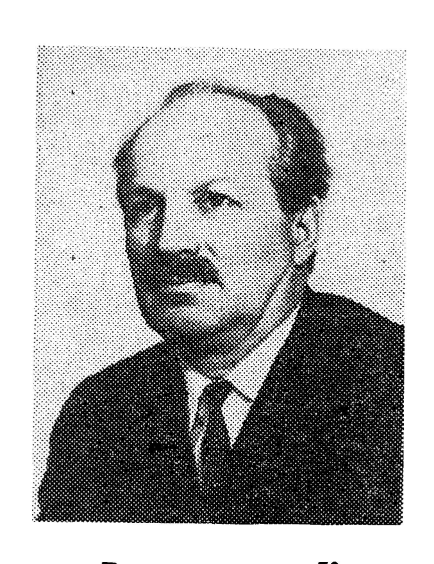
К44 Тайны камышовых зарослей: Повесть. — Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1983. — 223 с., ил.

50 коп.

Приключенческая повесть о дружбе ребят разных национальностей, ставших свидетелями злодеяний сектантов-мусульман и включившихся в борьбу с ними. В основу повести легли реальные события, имевшие место в 50-х годах в Узбекистане.

К $\frac{4803010102 — 039}{М140 (03) — 83}$ 57—82 ББК84Р7

ОТ АВТОРА



«Религия есть опиум народа». В этих словах Карла Маркса глубокая и неоспоримая правда. Сама религия нелепостью своих постулатов лучше всего подтверждает справедливость этого выражения. И тем не менее религиозные пережитки в сознании людей необыкновенно живучи, прежде всего потому, что они появились на свет чуть ли не вместе с самим человеком. Потому и борьба с ними — дело трудное и длительное. И чем невежественнее человек, тем крепче держатся в нем эти пережитки, тем больше в его сознании религиозного тумана, а то и дикого фанатизма.

Религии все (и буддизм, и христианство, и ислам) одинаково реакционны и враждебны всему разумному. Но особенно страшно для человечества присущее всем религиям и их разновидностям (в различных проявлениях) сектантство с его нелепыми догмами. У сектантов фанатизм доходит, в сущности, до безумия.

О борьбе с одной из форм сектантства — эта книга. Основу ее составляют реальные события, имевшие место в пятидесятых годах в Узбекистане. Мне хотелось показать в этой повести не только безумство фанатиков, но — главным образом — ребят, мальчишек разных национальностей, живущих в узбекском кишлаке, их честные и чистые помыслы и стремления, их дружбу и приключения. Душевная доброта советских людей, их решимость в сложную минуту брать на себя ответственность в нелегких ситуациях, способность верить человеку наряду с

активным, действенным протестом против всего, что мешает людям жить, — вот что противостоит в повести сектантам — «волосатым ишанам», от которых, оказывается, тянется ниточка к недобитым в 20-х годах басмачам.

Конечно же, в советских республиках Средней Азии давно и в помине нет басмачей, не встречаются и дикие фанатики-дервиши и каландары, которые во время войны да и в начале пятидесятых годов все еще бродили по базарам и кишлакам. Все это уже история. Но предавать забвению то, что было, нельзя. История не любит да и не прощает бездумного забвения. Поэтому, мне кажется, следует напоминать о том, что было когда-то (неважно — давно или совсем недавно). Напоминать для того, чтобы какие-то пережитки не переросли во зло и не расползлись слишком широко, чтобы и молодежь знала, что это такое — религиозные пережитки.

Приятно и радостно видеть, как в последние десятилетия круто изменилась жизнь во всех республиках, но для меня особенно заметны изменения в дорогом моему сердцу Узбекистане, в республике, которой я с любовью отдал многие годы своего труда. Конечно, и на ее нелегком пути к счастью немало было трудного и горького, но все большое и светлое не дается легко. Трудолюбивый узбекский народ, как и другие братские народы нашей многонациональной Родины, видит залог своих успехов в нерушимой дружбе со всеми народами огромной Советской страны.

Конст. КИСЛОВ



Кааба и кабак — оковы рабства.
Азон и звон церковный — зовы рабства.
Михраб, и храм, и четки, и кресты —
На всем на этом знак суровый рабства.

Омар Хайям

ЗАГАДОЧНАЯ НАХОДКА

Знойная остекленевшая тишина. Полет стрекозы отдается пронзительным, долго не гаснущим звуком. Степной орел, выписывая круги на безоблачном небе, с немыслимой высоты наблюдает за жизнью, что теплится на зыбучих песках. Но вот, кажется, острый взор хищника что-то заметил: он часто замахал крыльями, зависнув на одном месте, потом легко и как бы нехотя взмыл ввысь — не то, что выглядывал он. Там, по выжженной солнцем земле, похрустывая на солончаках, пробирались ребята: Федя Пестунов и Роман Пак. Лицо у корейца Романа широкое и темное, как глиняная тарелка, а глаза точно бусинки, зажатые в узких, вздернутых к вискам прорезях. Мальчишки заняты делом: ловят мелкую живность для школьного живого уголка, и так захвачены своим охотничьим поиском, что полуден-

ный зной пустыни им бари-бир*, как говорит Роман; не замечают они и острых, как иглы, колючек, терзающих их ноги. А то, что они далеко ушли и потеряли связь с остальными ребятами, для добытчиков не страшно.

Федю Пестунова мальчишки называют просто и коротко — Сергач. Прозвище это утвердилось за ним, видимо, не случайно. Еще дед его в какие-то стародавние голодные времена переехал вместе с семьей на жительство в Узбекистан из глухого нижегородского городка Сергача, что находится где-то недалеко от Волги. Федя никогда не бывал ни на Волге, ни в городе Сергаче, однако от родителей, особенно от деда, прожившего чуть не круглую сотню годов, слыхивал множество былей и небылей о том далеком крае, где люди когда-то будто только и занимались тем, что отлавливали в лесных дебрях молодых медведей и учили их всяким озорным премудростям, а затем водили их по городам и весям и потешали охочий до всяких забав честной народ. Федя гордился и своими предками, и городом Сергачом, и тем, что он, как и что ни говори, а все ж таки считал себя сопричастным к славе тех бесстрашных медвежачьих «выхаживателей» и поводырей, которые, играючи, умели укрощать дикую звериную ярость. Своим дружкам он нередко пересказывал слышанные дома и запомнившиеся ему истории о забавных, а порой и трагичных приключениях. «А у нас в Сергаче...» — так обычно начинал он каждый рассказ. Однако и цепкая Федина память — не бездонный колодец, она истощалась, и потому волей-неволей допускались досадные повторения, а иной раз — неожиданно новая вариация уже известного ребятам рассказа. И в конце концов безобидная фраза, начинающая каждый рассказ, «А у нас в Сергаче...» сделалась как бы притчей во языцех, и озорные острословы стали звать серьезного и в общем-то обстоятельного Федю Пестунова просто Сергачом.

Невысокий и плотный, немного, пожалуй, увалень; в нем и в самом деле проглядывало что-то от крепкого, набравшего молодой силы медведя-пестуна. Вылинявшая майка, густо испещренная дырками, словно принявшая в себя заряд бекасинника, плотно и туго обтягивала его загорелое чуть не до черноты тело. За спиной у Феди был кузовок из тутовой дранки, а в нем — черепахи, ящерицы и маленький, но уже страшно колючий ежонок.

---

* См. пояснительный словарь в конце книги.

В руках у обоих мальчишек орудия лова — длинные рогатые палки.

— Поймать бы нам, знаешь, кого? — мечтает Федя, разглядывая какие-то следы на песке.

— Медведя? — хитрющие Ромкины глаза утонули в косых резко очерченных прорезях. И хотя Федя хорошо знает, на что намекает Ромка, он отвечает серьезно и без малейшей обиды:

— Медведи здесь водиться не станут, что они — дураки, что ли? Ему, медведю-то, не тугаи*, а настоящий лес нужен, понял? А такой лес растет только в Сибири да еще у нас.

— В Сергаче?

Федя, видимо, хотел что-то пояснить, но Роман сам поспешил исправить свою неточность:

— Ну, тогда — шакала. Да?

— Придумал чего: шакала! Это же мировой ворина. Самый некультурный зверь, и пакостник к тому же. Вот твои тапочки, — Федя показал на Ромкины обутки, — с живой ноги сдерет, слопает и оближется, а ты и не услышишь. Мне один пограничник рассказывал. Подметки, говорит, с ног отгрызает, когда в наряде лежишь. А пограничник трепаться не станет. Уж кто-кто, а каждый пограничник хорошо знает шакалов. Нам бы, Ромочка, дикобраза добыть. Тогда бы, знаешь, что? У наших мальчишек завелись бы самописки из дикобразьих иголок. Отличные получаются, честное слово!

— Поймать, а потом ободрать его. Да?

— Чудак! Он сам их теряет, ну линяет, как собака или кошка. Тебе хочется такую самописку?

Роман вдруг поднял руку и съежился, словно наступил на колючку. В пяти шагах, возле камня, лежала змея. Тугие серые кольца ожили: плавно покачиваясь и шипя, змея подняла голову.

— Гюрза! — шепнул Роман. — Ловить будем?

Феде еще не приходилось ловить ядовитых змей. Он не успел не только ответить, но и как следует разглядеть змею и камни, возле которых она пригрелась. Роман же, сделав решительный выпад вперед, точно нацеленной рогаткой придавил змею.

— Скорее мешок!..

Схватив змею у самой головы цепкими, как клещи, пальцами, он с поразительной ловкостью оторвал ее от земли.

— Не уйде-ешь!..



Змея извивалась и судорожно билась в его руках. А Роман, сдавливая шею гюрзы, опускал ее хвостом в приготовленный Федей специально сшитый им для такой цели мешок. Делал он это с расчетливой осторожностью, словно всю жизнь только и занимался таким опасным промыслом, и при этом еще успевал наставлять Федю:

— Лямки затягивай сразу, ворон не лови. Следи за мной. Приготовились... Р-раз! — скомандовал он и расцепил онемевшие от напряжения пальцы. Федя резким рывком затянул лямки и бросил мешок на землю. Змея пружинисто рванулась в мешке, но, пометавшись, успокоилась и свернулась в кольцо.

Все произошло без суеты, без лишних движений — как надо. Однако, когда дело было сделано, Роман, смахнув с лица пот, вяло и принужденно ухмыльнулся.

— Сильная... Гробовая змея. Раз куснет — десять человек можно отравить этим ядом. Вот... Ядовитая, а все равно и от нее есть польза человеку. Понимаешь? А дедушка Хван говорил: их кушать можно.

— Тьфу, гадость! — брезгливо сплюнул Федя.

— Ты не пробовал, я тоже не пробовал — мы не знаем. В Китае, в Японии, и там, где дедушка Хван родился, — в Корее, из них жаркое делают, суп варят. Кушают.

— Капитализм там. Угнетение. Хороших продуктов бедному человеку купить не на что, поневоле гадами станешь питаться.

— В Китае же революция совершилась.

— А в Японии? В Корее южной? Заядлые капиталисты.

— Там — да, есть такое дело. — Роман вытер об трусики вспотевшие и все еще слегка подрагивающие руки и, передохнув, сказал: — А в Корею — скоро, наверно, я сделаю вам вот так ручкой и — ту-ту...

— Это еще на воде вилами.

— Кто сильно чего хочет, обязательно добьется. И я добьюсь. — Роман недовольно подвигал редкими бровями и, немного помешкав, спросил: — Обратно пойдем?

— Куда торопиться? Может, еще что попадется, — ответил Федя и принялся укладывать в кузов мешок с опасной добычей.

Медленно пробирались они по буйно разросшимся тугаям. Из-под ног заполошно срывались тяжелые длиннохвостые птицы и, пролетев несколько метров, падали в непролазную заросль, тревожно перекликаясь.

— Видишь, сколько фазанов, — заметил Федя. — Старики птенцов от нас прячут, от своих гнезд уводят. Хорошенько гляди под ноги, они крепко сидят.

— Его не схватишь, упрыгнет в колючки и — до свиданьица.

— Я про гнездо говорю. Фазанята, наверно, еще не умеют прыгать.

Здесь, в парном тепле колючих кустарников и камышей, разросшихся вокруг болота, тучами скапливались комары и москиты, жестоко жалили, и тотчас же на месте укусов вскакивали белые волдыри, начиненные жгучей болью. Потное тело сверлил зуд. И всюду порхали птицы, то большие и тяжелые, то маленькие, величиною с майского жука. На болоте что-то плескалось, и хрипло надрывался кряковый селезень, зазывая подругу.

— В таких дремучих тугаях не только шакалы — тигры заведутся. Приволье, как в джунглях, — сказал Роман, обирая с лица густую оплетку паутины.

Они выбрались на поляну, изрытую кабанами. Прислушались для того, чтобы понять, где остались ребята — их товарищи. Но ничего не было слышно, кроме комариного писка да хрипа одинокого селезня. Федя, что-то заметив, раздвинул палкой кусты и оцепенел.

— Ромка, глянь сюда! — испуганно прошептал он. — Слышишь, вот сюда гляди. Видишь или нет?..

Роман искал глазами то, что они должны были искать — животных, но ничего такого впереди не было.

— Не видишь, что ли, слепой?! — выходил из себя Федя.

В поблекшей, сваренной зноем траве лежал человек. Косматый, в одной лишь набедренной повязке, будто пришелец из глубины веков, таинственный и странный. Его впалая грудь, тяжело вздымаясь, хрипела, как старый кузнечный мех. Временами он пытался оторвать от земли голову, и тогда глаза его лихорадочно что-то искали, кого-то звали немой болью.

— Шайтан, а может, сам черт, — прошептал Роман.

— Шайтанов и чертей не бывает.

— Может, снежный человек? Э, Сергач, это — снеговик! — чуть не крикнул Роман. — Спустился с Тянь-Шаня и заплутался. А могло несчастье случиться: в лавину попал, ушибся сильно и...

— Не болтай, — возразил Федя. — Снеговик, наверно, тряпкой не обвязывается, он как обезьяна. Это какой-то

дикарь. А может, американцы его подкинули? На парашюте? Шпионить?

— Так тебе американцы голышом и выбросят своего человека. Для смеху, что ли? Чего он, такой-то, нашпионит американцам. Они тоже не дураки.

— Да-а... — озадаченно произнес Федя. — А может... Вдруг это какой-нибудь марсиянин? Помнишь, в школе о каких говорили?

— Марсиянин? Может быть... не знаю, — неуверенно поддержал Роман.

Между тем загадочное существо по-прежнему лежало на спине и тихо стонало.

— Что будем делать? — спросил Федя.

Роман скребнул пятерней вспотевший затылок; глаза его совсем скрылись — на их месте остались как бы слегка припухлые щели.

— Задержать придется, — сказал он, подумав. — Подозрительный, таких у нас не бывает. Надо разобраться с ним.

— А кто будет задерживать?

— Кто? Мы с тобой.

— Двое пацанов против одного взрослого дикаря? Медведя — того специальной снастью ловят, дедушка говорил, а у нас чего есть? Глупость! — отверг Федя. — Надо с Генералом поговорить. Понял?

Чуть поколебавшись, Роман согласно кивнул головой. Они постояли еще несколько минут, хотелось поближе разглядеть: что это за диковина такая в облике первобытного человека. Но «диковина», должно быть, не хотела подниматься, а может, уже и не могла. Мальчишки, стараясь ничем не нарушить покоя зарослей, пошли обратно по своим же следам.

— Замечай хорошенько местность!

— Э, бари-бир, — отмахнулся Роман.

ГЕНЕРАЛ

Обладателем столь высокого звания был Ирgаш Кадыров. Ему тринадцать лет. От своих дружков-приятелей отличался он всего-навсего тем, что на голове носил не черную с белыми узорами ферганскую тюбетейку, а парадную фуражку летчика, которую ему подарил брат, недавно приезжавший в отпуск. Иргаш более рослый, чем его дружки, и мускулы на его руках потверже. В остальном он такой, как все: босоногий и черный, в узких



штанах, собранных под коленками в гармошку, в расстегнутой клетчатой рубашке, отмеченной жирными пятнами. Как всякий знающий себе цену мальчишка, Иргаш не любит задираться по мелочам, а уж если кто доведет — спуску не жди. Вот за это и уважают его мальчишки.

Когда Федя Пестунов, как всеми признанный биолог, привел ребят к учителю Джуре Насыровичу, чтобы посоветоваться с ним, как и где лучше искать животных, учитель сказал им: будьте осторожны и внимательны, особенно когда дело касается больных ящериц-варанов и змей. Остерегайтесь скорпиона и фаланги. Весной они злы и опасны. А впрочем, Джура Насырович хотя и не сказал прямо, но был уверен: там, где Иргаш Кадыров,— ничего плохого случиться не может. И он не ошибся. Иргаш не только ловил сам эту живность, но и помогал другим. Все шло хорошо, однако продолжительное отсутствие Феди и Ромки начинало его беспокоить. «Эх, Ромка, Ромка... Опять что-нибудь придумал, — сердился Иргаш. — Все по-своему делает, горячая башка. Говорил: далеко не уходите — ушли. Может, в болото потащились...»

Но вот, кажется, появились на горизонте: бегут, руками размахивают, ветер вырывает пыль из-под их ног.

— Ге-не-ра-ал! — несется над барханами.

Иргаш стоит на пригорке, под ногами у него густым пятном лежит тень, горбатая и плотная, точно вырезанная из картона. Он опирается на палку, но не так, как по привычке опираются на свои герлыги старые чабаны — его палка как шпага у полководца. А лицо кажется непроницаемым и строгим.

Первым подбежал к Иргашу Роман и шлепнулся в песок.

— Что? — спросил Иргаш.

— Дай отдышаться. Бежали...

— Пошли — сам все увидишь! — сказал Федя и принялся торопливо снимать с потной спины кузовок с живой кладью.

— И правда! — подхватил Роман. — Пошли скорее! Пошли...

Теперь их было трое. Трое во главе со своим предводителем и командиром. Они не шли, а бежали, увязая в барханном песке. Иргаш недоумевал, но и не спрашивал: пусть будет так, как есть. Им все еще попадались черепахи, ящерицы, а на одном бархане поднялся, как изваяние, тушканчик. У Феди даже где-то под ложечкой заныло. «Эх, поймать бы такого шустрика...»

Разгоряченные и нетерпеливые, они уже продирались через тугаи, когда Федя заметил, как черной молнией кинулся с высоты орел, но, тревожно вскрикнув и чуть не ободрав крылья в колючем кустарнике, неловко взлетел без добычи.

Как и в тот, в первый раз, Федя сперва просунул палку в кусты, огляделся, затем тихо сказал:

— Здесь. Смотри!

Иргаш, напрягаясь, вытянул шею.

— Мертвый? — так же тихо спросил он.

— Живой. Гляди, брюхо у него поднимается, дышит.

Человек пошевелился и слабо простонал.

— Э-э, совсем джин, — сказал Иргаш. — Безумный. Таких бесштанных ни в одном кишлаке нету. Чужой.

— Сергач говорит, что он — марсиянин.

— Ага. Марсиянин из сумасшедшего дома?

А сам глядел и страшно удивлялся: что за человек? Откуда мог появиться такой в тугаях, возле почти непроходимого болота, далеко от жилья?

— Говори, что делать? — беспокоился Роман.

— Что делать?..

А орел опять уже лег на могучие крылья и поплыл, выписывая в блеклом, чуть подсиненном небе круги.

Иргаш поправил фуражку и выпрямился.

— Заберем с собой, — сказал он. — Плохое дело: умереть может. Нельзя такого оставлять. Разбираться будем, кто он.

— Правильно, я это же говорю!

— А если... — неопределенно начал было Федя.

— Чего «если»? Он совсем дохлый. А нас три человека!

— Может, сперва разбудить его и поговорить. Спросить... — колебался Федя. Иргаш сосредоточенно думал, насупив брови.

— Я разбужу его! — предложил Роман.

— Ага, действуй, а мы с Сергачом прикроем тебя.

Но будить его не пришлось. Едва Роман подобрался к косматому, тот вскочил на ноги, сильно оттолкнул от себя Романа — мальчишка кувырком полетел в траву. Косматый кинулся в одну сторону, в другую, но, не сделав и трех рывков, упал. Иргаш и Федя навалились на него. Косматый вдруг заорал таким голосом, что в округе разлетелись все птицы. Он отчаянно отбивался, царапался, пытался укусить, но ребята увертывались. А когда силы его иссякли, он сам протянул руки и умолк. Иргаш вытянул из кармана обрывок веревки и связал ему руки.

Лохматый и страшный, он казался ребятам дикарем, точно таким, каких видели на картинках в своих книжках, каких представляли из начальных уроков истории. Грязное тело косматого было изъедено язвами, от него исходил тяжелый запах — рядом с ним неприятно стоять.

— Кто вы? — спросил Иргаш как можно строже. — Почему оказали сопротивление нам? Мы хотели помочь вам, а вы... Отвечайте, я спрашиваю вас!

Но косматый никак не реагировал. Немного отдышавшись, он вдруг затрясся и тоскливо заскулил, как осиротевший щенок. Потом, закинув назад голову, завопил так, что Иргаш потерял охоту допрашивать.

— Э-э, говорил — сумасшедший, — сказал Иргаш и брезгливо поморщился. — Чего с ним договоришься? Время потеряешь зря.

А голый и косматый пленник, похоже, задался целью напугать мальчишек и своим необычным видом, и своим звериным голосом. Он вопил все сильнее, а потом завыл

так, как воют в осеннюю ночь голодные волки, потом вдруг захохотал, широко разинув рот, полный крепких зубов. И хохот его — это даже пострашнее, чем волчий вой: глаза куда-то закатились, и на их месте остались желтые, оплетенные сеткой кровеносных сосудов пустые белки. Очень страшно!

— Эй вы, безумный! — не вытерпел Иргаш и поднял над головой палку. — Здесь не театр, а тугаи, а там — Аванская степь! Никто не услышит вас, кроме шакалов.

И точно поняв всю бессмысленность своего поведения, косматый съежился и замолчал; теперь он не походил даже на сумасшедшего — дырявый полупустой мешок с выпиравшими наружу костями.

— Развяжи ему руки, Ромка.

— Он удерет.

— Не удерет.

— Сперва надо узнать его имя, — опять забеспокоился Федя. — Ведь как-то зовут его. Если он человек, а не обезьяна — имя у него должно быть. Эй, человек, как тебя зовут?! — крикнул Федя. — Скажи свое имя или фамилию, — при этом Федя энергично жестикулировал, пытаясь объяснить смысл своего вопроса. Но человек даже не повернул головы, как глухой.

— Какой сегодня день? — спросил Иргаш.

— А что? — поинтересовался Федя.

— Ну, спрашиваю.

— Понедельник, пятнадцатое мая!.. — как на уроке, отбарабанил Роман. — Забыл, что ли, вчера «Пахтакор» опять проиграл. Без конца проигрывают!

— Та-ак, — в раздумье произнес Иргаш, уже не слушая Ромкиных рассуждений. — Душанба — так станем звать! — сказал он.

— Правильно! — воскликнул Федя. — Как Робинзон! В пятницу нашел человека и назвал его: Пятница! А мы — в понедельник, значит, — Ду-шан-ба. Только, по-моему, он не очень похож на того Пятницу — надо сперва врачу его показать...

Решив главное, и, по их общему мнению, самое трудное, они двинулись в путь. Роман, слегка прихрамывая и потирая ушибленную руку, шагал впереди пленника, как направляющий. Федя шел сбоку, готовый отразить попытку Душанбы к бегству. Процессию замыкал Иргаш.

— Не подумайте удрать — не удастся, — рассуждал он строго, но не сердито. — Бояться тоже не надо: плохого ничего не сделаем. У нас лучше, чем в тугаях, могли

с голоду помереть там, а у нас кушать будете и никто вас не тронет...

А Душанба, кажется, и не собирался удирать. Он послушно шел за Романом, покачиваясь из стороны в сторону, будто пьяный. Но на вопросы, которыми его донимали то один, то другой конвоир, не отвечал. Заметно было, что его лихорадило, вздрагивая, он кусал губы и так сильно, что на них выступали пузырьки крови, а в безумных глазах — страдание и слезы.

Когда наконец ребята, преодолев тугайные заросли, вышли на старую, давно не езженую дорогу, Иргаш остановился, оглядел еще раз пленника в молчаливом раздумье и сказал:

— Ты, Сергач, иди к пацанам: нельзя бросать их одних. Соберите все лукошки и тащите домой. Мы с Ромкой тут и одни справимся.

— А почему не вместе? — недовольно спросил Федя.

— Мы другой дорогой, в одно место зайти надо. Понял куда?

ДЕДУШКА ТУРГУНБАЙ

Старик как старик: борода белая — аксакал; эта борода и аккуратно подстриженные усы не только придавали его лицу подобающую возрасту степенность, но еще и вызывали у всякого встречного почтительность и уважение. Глаза его в неизменном прищуре светились душевным здоровьем и благополучием. А вот ноги — «хитрили», как говорил сам Тургунбай, особенно осенью да и зимой тоже. Весной же, как только расцветали тюльпаны, а степь погружалась в струистую дымку, Тургунбай собирал в хурджумы немудреный скарб свой, завьючивал ишака и отправлялся на колхозную бахчу, где он уже много лет служил сторожем. Там, на бахче, он и жил до тех пор, пока не вывезут все арбузы и дыни. Но не только караульное дело — на бахче было и другое, не менее приятное занятие у Тургунбая: там он ловил перепелок. Под камышовым навесом, возле его сторожки, целыми днями раздавалась перепелиная дробь. А Тургунбай сидел на циновке и, прихлебывая душистый кок-чай, наслаждался незатейливой песенкой своих пернатых друзей. Не раз говаривал он знакомым своим и родственникам: «Э-э, хорошая у меня жизнь: сытая, полезная и веселая. Кокандский хан Худояр так не жил, как живет караульщик Тургунбай Салямов! А за хорошую бедану*-



певунью каждый говорит тебе «рахмат»* и низко кланяется. Очень даже хорошо...»

Летом, когда еще нет спелых дынь, никто обычно не заезжает на бахчу, и Тургунбай весь отдается своему азартному занятию. В чем, в чем, а уж в перепелках он знает толк. В это время гости его — ребята, предводимые внуком Иргашем. Они приходят целой гурьбой и живут дня два, а то и больше. Приходят они не только за тем, чтобы забрать из-под навеса клетки с перепелами, — больше за другим: за рассказами о том, как дедушка Тургунбай воевал с басмачами и что интересное приключилось в его жизни.

И хотя он всегда рад приходу ребят, но с каждым разом труднее даются ему новые рассказы. Память истощается, как карман с гостинцами.

И в этот раз, как только залаяла собака, чуя приближение людей, Тургунбай уже подумал: а что на этот раз потребуют от него ребята? Поднялся, поглядел из-под шершавой ладони на дорогу и недоуменно нахмурился. Что такое? Мальчишки кого-то ведут? И кого? Ничего более несуразного не мог старый Тургунбай увидеть даже во сне.

— О аллах милостивый, что творится на белом свете! — воскликнул он.

Однако размышлять было некогда: почти голый косматый человек, сопровождаемый ребятами, неуверенно шагнул под навес и повалился на циновку. Тургунбай уставился на него так, словно к нему привели не человека, а самого шайтана, и когда их взгляды встретились, старик еще более заволновался.

— Вай-вай, как тебя жизнь наказала, сердешный, — вздохнул он и стал собираться в дорогу. — Я сейчас, я быстро, дети мои, — ворчал он, седлая ишака. — А здесь чего может случиться?.. Этот пес, хотя и старый, но вполне надежный, он ни одного шакала и близко не подпустит к моему жилищу. Уверен, что и перепела все будут целы...

Неожиданно для ребят Тургунбай вынес из-под навеса старую-престарую четырехлинейку, с побитой ложей, заложил в магазин обойму патронов и, поправив на халате пестрый бильбок*, сел на ишака. Мальчишки, наблюдавшие за стариком, недоумевали. Отозвав деда в сторону, Иргаш тихо, но недовольно спросил:

— А винтовку зачем?

— О-о, я хорошо знаю, что делаю.

— На людей он не кидается. Больной и совсем мирный. Назвали мы его Душанбой.

— Это не важно, как вы его называете, я-то уверен, кто он, этот гусь лапчатый.

— А кто — скажите?

— Узнаем. Скоро узнаем, сын мой...

Они миновали арык и, следуя за Тургунбаем, шли по жесткой, ощетинившейся целине.

— Скоро будем в своем кишлаке, — ворчал Тургунбай, будто хотел кого-то успокоить. — Я знаю близкую дорогу... Самую короткую, она приведет нас куда надо...

А Иргаш шел и в душе сердился на деда: что с ним стряслось? Почему он такой?

— Мы целый день черепах ловили и ящериц. Пришли поговорить, а вы даже лепешкой не угостили нас, чаем не напоили. Зачем такой скупой сегодня? — недовольно спросил Иргаш.

— Ничего, внучек, потерпи немного. Что такое чай! Э-э, горькая зеленая вода и все. А черствая лепешка — что? Зубная боль. Чтобы быть сытым, надо плов кушать, а у меня нет его — ты забыл рису принести. Плов будет дома. Правильно говорю, Ромаджан?

Роман ухмыльнулся смущенно и промолчал. Ему тоже непонятно. Дед, всегда радушный и суетливый, сейчас совсем не походил на себя; хотя он и старается шутить, но шутки получаются не совсем гладкими, он чем-то встревожен и винтовку свою держит так, будто ждет дерзкого нападения.

Душанба брел, заплетаясь непослушными ногами и глядел в землю, словно прислушивался к хрусту сухой травы. А людей, что шли рядом, он просто не видел и не хотел видеть. И только когда кто-то тронул его за плечо, он вздрогнул и поднял глаза — возле него был Тургунбай на ишаке верхом. Душанба взвизгнул и заклацал зубами. Потом захохотал и, кривляясь, стал подпрыгивать. Но Тургунбай почему-то рассмеялся так искренне и громко, как он нечасто смеялся.

— Что с вами, дедушка?! — испугался Иргаш. — Почему вы смеетесь?

— Не волнуйся, сынок, не надо. Все идет так, как должно быть.

«Но почему так должно быть? Уж не задумал ли он разыграть нас, — подумал Иргаш, с подозрением поглядывая на деда. — Ничего у него не выйдет!»

Душанба успокоился, и на лицо его опять надвинулась каменная тоска. Он уже не шатался из стороны в сторону, а, опустив голову, шел скорым шагом, будто торопился поскорее узнать, что будет там, куда ведут его старик и мальчишки.

— Дедушка, почему вы не хотите сказать? — опять спросил Иргаш.

— Мне нечего вам сказать, — лукавил Тургунбай.

— А почему смеетесь?

— Почему, почему... смотрю, как первобытный дикарь шагает по нашей колхозной земле. В кино такого не увидишь! А тебе разве не смешно?

— Нет... Ромка, тебе смешно? — повернулся он к другу.

— Чего тут смешного?

Старик нахмурился и, перекинув за спину винтовку, которая все еще была у него в руках, задумчиво почмокал губами.

— Видит аллах, мне тоже не смешно. Противно! — проворчал Тургунбай и пятками остроносых калош толкнул в бока ослика.

Над степью уже нависал вечер. Солнце, полыхая пожаром, опускалось среди песчаных барханов и все глубже зарывалось в землю. Ощутив свежий ветерок, срывавшийся с гребня косогора, Тургунбай запахнул халат. Душанба передернул плечами — у него не было ни халата, ни рубашки. Он согревался тем, что сжимался весь до боли в костях и прыгал на месте, как прыгают дети через скакалку.

На окраине кишлака Ашлак их ждали учитель Джура Насыров, доктор Мирзакул и Федя Пестунов, взволнованный и нетерпеливый.

— Чего так долго? — недовольно проворчал Федя.

В то время когда доктор Мирзакул, покачивая головой, разглядывал раны на теле Душанбы, прощупывал у него пульс, измерял температуру, учитель смотрел на странного человека с недоумением. Доктор же был строг и чем-то недоволен и потому, кажется, не хотел пускать Душанбу в Ашлак.

Дождавшись окончания осмотра, учитель подошел к Душанбе и заговорил с ним. Тот упорно молчал и даже не глядел на учителя. Насыров повторил свой вопрос по-таджикски, затем — по-арабски, по-русски. Душанба даже не пошевелился, глядел куда-то в пустоту бездумными, ничего не видящими глазами. Когда учитель прикоснул-

ся к нему рукой, он подпрыгнул и закричал. Затем упал под ноги ишаку и забился в лихорадочном приступе.

— Да-а, ничего не понимаю. Или он очень болен, или... Впрочем, чтобы не занести в кишлак какой-нибудь болезни, его надо отвезти в Коканд, — решительно сказал доктор. — Там специалисты осмотрят его, проведут исследования, и тогда все будет ясно.

САИДКА

Это — маленький оборванец, с которым никто из ребят не дружил. Он и сам сторонился сверстников. Отсидев кое-как за партой зиму, с наступлением весны Саидка забывал о школе. Отец его, по прозвищу Муслим-дивона*, бродяжничал и жил подаяниями. В кишлаке он появлялся редко и обязательно увешанный пустыми консервными банками, высушенными тыквочками, пучками конских волос. Он вечно за кем-то гнался, кого-то искал и бормотал при этом несусветную чушь. Саидка обычно ходил с отцом. Жалкая роль поводыря наложила свой отпечаток на его характер, поэтому он держался обособленно, а если встречался с мальчишками — старался обойти их стороной и первым не ввязывался в разговоры, а тем более в игры. Больше чем остальных он боялся Иргаша, который не раз отбирал у него побрякушки, собираемые для отца, и тут же, у него на глазах, ломал их.

— Мусорщик! Школу подводишь, Джуру Насыровича. Эх ты... В музей тебя посадить вместе с этими твоими жестянками. Бродяга...

Когда доктор Мирзакул осматривал на окраине кишлака Душанбу, Саидка сидел на крыше своей кибитки* и все видел. Никто не заметил тогда Саидку. А он, прижавшись к глинобитному дымоходу, с великим вниманием следил за тем, что происходило внизу. И как только услыхал приговор доктора: отправить в Коканд, неслышно соскользнул с крыши и юркнул в кибитку...

На рассвете Федя Пестунов, у которого прихворнула мать, выгнал в стадо корову и, возвращаясь домой, неожиданно встретился с Саидкой. Завернувшись в рваный халат, Саидка не спеша брел вдоль полуразрушенного дувала на окраину кишлака. «Подрапал куда-то, ни свет ни заря подымается — деловой человек».

— Эй, свистун, куда нос навострил?!

Саидка состроил ему смешную рожу и исчез за дувалом. Федю такое поведение Саидки не обидело — что



можно ждать от бродяги? Однако любопытство уже завладело им: а что будет дальше? Федя — мальчишка не только любознательный, но еще и любопытный. Свернув за угол, он присел возле пролома в дувальной стене. Долго ждать не пришлось. Сперва по ту сторону стены появилась засаленная тюбетейка, потом настороженные и словно бы немного испуганные Саидкины глаза. Не заметив Феди, Саидка вышел из укрытия.

— Ясно, скрывается, — прошептал Федя. — А почему скрывается? Испугался меня?.. Но я никогда и пальцем его не трогал. От кого же он скрывается?..

Солнце едва выглянуло из-за хребта, а за косматым горбом горы поднялись уже снеговые великаны, обряженные в серебристо-алую пелену. Обозначились ущелья, кручи, даже редкий лесок можно было уже разглядеть в неглубоких распадках. В дорожной, пока еще не горячей, пыли купалась парочка хохлатых удодов. Федя обошел их стороной — понаблюдать бы за осторожными птицами, но Саидка, миновав уже последнюю кишлачную кибитку, свернул на тропу, которая вела в поле. Шел Саидка почти вслепую — солнце горячо и ярко било ему в глаза, и потому тропинку он угадывал ногами, обутыми в большие галоши. На чумазом лице его

трепетала улыбка. Чему он радовался? Может быть, погожему утру или щекочущей ласке солнечных лучей? А быть может, тому, что удалось обмануть хитрого Федю? Именно так он и считал (нерасторопный Сергач остался в дураках!) и потому перестал озираться по сторонам. А Федя был уже на тропе, которая петляла по краю сухого арыка, и то, что она петляла, было даже хорошо: заросли черной полыни по ту и другую сторону тропы скрывали Федю. Так они прошли километра два. Саидка поднялся на бугор, поглядел по сторонам и, свистнув, чтобы спугнуть любопытных сусликов, направился к кишлаку Павульган, который начинался сразу же за рощей тутовника. Федя прибавил шагу. Он решил обойти Саидку по сухому руслу арыка и сократить разделявшее их расстояние. Но тут просчитался Федя: Саидка не пошел по тропе в кишлак, подошел к первой усадьбе и, не заметив ничего подозрительного вокруг, ловко забрался на дувал, а с него спрыгнул вниз.

— Обманул! — вздохнул Федя. — Вот шакал. Ищи его теперь по чужим дворам... А кто тебя пустит в чужой двор ни с того ни с сего?

Он хотел было уже повернуть назад, но услышал разговор за дувалом, куда только что спрыгнул Саидка. Отыскав в стене сквозную трещину, Федя припал к ней глазами и тотчас же увидел часть айвана*, где сидели две старые женщины и громко болтали о пустячных делах. Третья женщина суетилась возле тандыра*, подкидывая в его дымную пасть гузапаю*. Но где же Саидка?.. Федя прошел еще несколько шагов вдоль дувала, отыскал новую трещину, заглянул в нее и чуть не вскрикнул. Под развесистой урючиной на кошме сидел старик в черном халате, а подле него — Саидка с пиалушкой чая в руках. Федя вытянулся на носках и прижался к стене. У старика были широкие округлые плечи и короткая шея, как у циркового борца. Рябое лицо его с редкой, словно выщипанной бородой, казалось красным и рыхлым. Он слушал Саидку и что-то жевал. Рядом с этим нескладно-большим и угрюмым стариком Саидка казался жалким мышонком, попавшим коту в лапы. Федя не мог расслышать, о чем говорил Саидка, — он был далеко от него, а когда голос Саидки срывался и звучал сильнее, старик обрывал его повелительным жестом. Саидка кланялся ему и начинал говорить тише. Вот старик поднялся с кошмы. Он

был высок и грузен. Опершись на худенькое плечо Саидки, он сунул ему в руку кусок лепешки.

— Поешь и ложись спать, — сказал он хриплым басом. — Ты рано поднялся, сын мой, и заслужил хороший отдых. Потом мы с тобой будем читать святой Коран. Надеюсь, ты не разучился читать Коран? Помни всегда: на свете нет книги лучше той, которую сотворил пророк...

Это все, что услыхал Федя. Проводив Саидку в дом, старик вернулся на свое место, прилег на кошму и захрапел. Федя постоял немного в раздумье и пошел домой: больше ему нечего было здесь делать.

РАССКАЗ СТАРОГО БОЙЦА

На бахче в эти дни было скучно: никто не появлялся. А Тургунбай считал себя счастливым лишь тогда, когда возле него находились люди, и не просто люди — собеседники. Жила такая потребность в Тургунбае — любил поговорить и даже пофилософствовать. Что же такое делается: дни идут, а никого нет? Он даже перестал ловить перепелов, и песенки их уже не наполняли душу прежним блаженством. Не готовил он и пищу себе, жил одним лишь кок-чаем и черствыми лепешками. Из ума не выходил тот человек, которого ребята назвали Душанбой. Откуда он взялся — такой искарябанный и волосатый? Какая нелегкая привела его в эти края? И тот ли он, за кого его принял под горячую руку Тургунбай? Все это очень беспокоило старика. Как и в тревожную пору басмачества, он теперь не расставался с винтовкой. Бродил по бахче, словно кого-то выслеживал. Однажды забрел слишком далеко от своего жилья, но все равно никого не встретил и вернулся на бахчу еще более озабоченным.

— Ох-хо, слава всевышнему, хоть этого шайтана ребята поймали. Не дали ему расплодить возле себя таких же... — рассуждал он, поглядывая по сторонам. — Конечно, неспроста заявился он в наши места, была какая-то причина. Была...

И когда наконец пришли на бахчу ребята и принесли свежих продуктов, Тургунбай накинулся на мальчишек, будто не встречался с ними целый месяц.

— Как поживает этот бесстыжий шайтан с бабьими волосами? А что говорит учитель? Неужели и он ничего

не знает?.. А еще таких бродяг вам не довелось встречать?.. Хорошо ли вы обыскали то место, где валялся этот драный шакал?.. Теперь надо смотреть в оба, это уж точно...

Ответы ребят были односложны. Они совсем не обрадовали Тургунбая, не развеяли его сомнений, и потому он даже немного осердился на мальчишек.

— Все у вас нет да нет, да ничего не знаем. В разведчики собираетесь... Какие из вас джигиты получатся, если вы ртом, а не глазами глядите, — ворчал Тургунбай, унося в шалаш узел с харчами.

— Не станем же мы врать, — сказал Иргаш. — Говорим правду: не знаем. Учитель ничего не говорил нам.

— Потом, может, скажет, — добавил Роман.

— Потом, потом, — ворчал Тургунбай. — Кот ловит мышей, когда они из нор вылезают, а не потом. Чтобы не опоздать, надо немного вперед глядеть.

Тургунбай отломил кусочек лепешки и принялся постариковски беззубо жевать, о чем-то думая. Мальчишки уселись под навесом. Хмурились. Плохо принимает их дед в последнее время. А Иргашу даже подумалось, что дед переменился, стал придирой: все ему неладно, все нехорошо.

— Тогда вы почему-то смеялись, дедушка, помните? А сейчас сердитесь — зачем так? — спросил Иргаш.

— Ты верно заметил: смеялся, — признался Тургунбай. Он дожевал лепешку, стряхнул с бороды крошки и, вздохнув, сказал: — Старое вспомнил. В те годы косматые тоже попадались, только они голышом не ходили, в тугаях не скрывались, а бродили по кишлакам, по базарам шатались и морочили головы честным людям.

— Расскажите, дедушка, — попросил Федя.

— Конечно, нам тоже хочется знать, кто они и почему такие — косматые, — поддержал Иргаш.

— О-о, это очень старая история, дети мои. Я тоже давно ничего не слыхал про них. Знаю — плохие они люди, вредные, — начал Тургунбай, разминая в пальцах душистую травинку. — О Советской власти много болтали нехорошего, да что болтали — боролись против новой власти, Ленина не уважали.

Иргаш даже поднялся, его что-то встревожило, он с подозрением поглядел на деда, но перебивать его не решился. «А Душанба?.. — подумал он и посмотрел на ребят, словно для того, чтобы проверить свои сомнения. — Мог Душанба пойти против Советской власти?»

Душанба... Иргашу, да, пожалуй, и его дружкам трудно было поверить и убедить себя в том, что они ошибаются в Душанбе. Им просто жаль было вот так сразу разрушить эту игру, которую они сами придумали.

Вдыхая душистую пыльцу растения, Тургунбай думал, глаза его были полузакрыты, глядели как бы в себя, в пережитое, в тайники старой памяти.

— Кому первому пришла эта дурь в голову — не знаю, — тихо продолжал он. — С тех пор много растаяло снега в горах, и немало утекло воды по саям* и речкам в Сыр-Дарью. На моей винтовке тогда еще не было ржавчины и никто не называл меня аксакалом. И вас еще не было на свете... Вот тогда-то и появились в наших местах «волосатые ишаны». Так они называли себя.

— А что такое «волосатые ишаны?» — перебил Иргаш.

— Как тебе объяснить? Они хотя и дервиши, монахи, но, должно быть, не правоверные, в мечети ходили, чтобы свои делишки устраивать. Духовники не уважали их. Прощелыги какие-то, а такое обличие им нужно было для того, чтобы людей сбить с толку. Их так и называли все: э-э, вахши*! А впрочем, аллах их разберет, кто они такие.

— А правоверные — что такое? — задал вопрос Федя.

Тургунбай нахмурился.

— В школу ходите, книжки читаете, а ничего не знаете! Правоверные все, кто в аллаха верует, пророка почитает. Вот что такое правоверные.

— Значит, мы не правоверные, дедушка, — заметил Роман.

— Про вас и говорить нечего, — сердито проворчал Тургунбай, подергал и расправил усы. — И чего вы меня в этот разговор втянули? Я не духовник, в медресе не учился, в мечети не служил, что я могу сказать? У тебя корейский бог, у тебя русский — ничего про них я не знаю.

— Про богов и не надо, — вмешался Иргаш. — Давайте про «волосатых».

Тургунбай неодобрительно покосился на внука.

— Эх, горе мое... А про «волосатых» что я могу сказать? Смутьяны и есть смутьяны. Бродили по кишлакам и возмущали народ, призывали верить только им, а не тем духовникам, которые в мечетях служат. Болтали, что они — наследники самого пророка Мухаммеда. А все остальные правоверные — мусор, какой из

мечетей выметают. Ну, болтать все можно. Своими глазами видал, как они бесновались и орали не хуже моего старого ишака. Народ не верил им. Зато курбаши* Курирмат* пригрел их. В большой чести были они у этого одноглазого дьявола. Предводитель их заделался советником курбаши, его духовным наставником. Тут они и показали себя, какие они есть наследники пророка! А расплодилось их, как блох на худой собаке, — везде «волосатые» появились. Думаете, воспевали славу всевышнему? Как бы не так! В басмачи вербовали. Кто не шел — запугивали, отнимали жен и детей, убивали невинных. А женщин — тех, кто осмелился паранджу сбросить, сжигали. Разве честный мусульманин может так поступить? Не может. Называли они себя хальфами*, дервишами*, мюридами*, которых благословил на святое дело будто сам аллах. Всяко называли. Басмач — разбойник, бандит, он грабил, убивал людей и все брал на себя. А эти нет, они именем аллаха прикрывали свои злодеяния. Убьют человека — аллах покарал кяфира*! Ограбят — так аллаху угодно. Особенно лебезил перед Курирматом Ариф-ишан*. Большой и сильный был человек этот Ариф, настоящий палван*. Люди боялись его. Но всему бывает конец. В Ферганскую долину пришла Красная Армия и разогнала басмачей. Курирмат с остатками банды бежал в Афганистан, а потом, по слухам, перебрался подальше. Предводитель «волосатых» присмирел. А Курирмат слал к нему тайных гонцов из-за границы, требовал, чтобы его верные люди не прятали далеко оружия. А какие верные люди у басмачей могли быть? Баи, преступники всякие. Что они могли? Бухарского эмира посадить на трон? Кокандского хана вернуть? Нет, со старым было покончено, и честные люди поняли: правильный путь в жизни — только с большевиками, а вот всякие пособники басмачества — эти не могли смириться со своим поражением и стали вредить общему делу. Потом, конечно, судили их, как врагов народной власти. Предводителя Топовалды-ишана, Ариф-ишана и еще несколько таких же оголтелых ишанов расстреляли, а мелких космачей отпустили и сказали, чтобы они занялись полезным делом и не дурачились. Под конец они, пожалуй, и сами разобрались, что Курирмат им не попутчик. Я был на суде, долго шел этот суд, много дней.

Тургунбай налил в пиалу холодного чаю. Он разволновался: лицо раскраснелось, руки заметно дрожали.

— Вы тоже ловили их, дедушка? — спросил Федя.

— Я в особом отряде ГПУ состоял. Приходилось. Как же — народное дело, стороной не обойдешь... — Он отхлебнул из пиалы и, уже весело поглядев на притихших ребят, сказал: — Такие же шатались, как и тот, которого вы подобрали. Вот и удивительно мне. Сколько годов прошло, любители побродяжничать почти все перевелись. Жизнь переменилась, нужды не стало, теперь даже нищего не увидишь. А тут, пожалуйста! Как с неба свалился...

— Дедушка, а мальчишки у тех ишанов были? Ну, например, такие, как мы? — все еще уточнял Федя.

— Не знаю, сынок. Мальчишек среди них не встречал. А если и были какие несчастные — не думаю, чтобы они помогали этим безобразникам и творили с ними заодно недоброе дело. Что ни говори, а доверять космотым я бы не стал. Приглядеться к ним не мешает, если уж они появились.

Тяжело вздыхая, Тургунбай поднялся и вышел из-под навеса...

РАЗНОГЛАСИЯ

Рассказы Тургунбая мальчишки воспринимали по-разному. Иргаш всегда слушал с предельным вниманием и гордился: вот какой храбрый у меня дед, с басмачами дрался! А когда дед, израсходовав запас своих воспоминаний, умолкал, Иргаш сокрушался. «Самое интересное случалось тогда, когда нас на свете не было. Несправедливо!» Не одного Иргаша огорчала эта мысль — Федя тоже мечтал испытать счастье настоящего подвига. А вот Роман, хотя и слушал с неменьшим интересом, чем его дружки, все-таки не очень огорчался. Потому что у него — он так считал — была ясная цель в жизни. Он верил, что все будет именно так, как задумано. И когда Тургунбай отошел от них, Роман с пренебрежением сказал:

— Э, давно никаких басмачей нету, их только в кино показывают. А этот Душанба — полный дурак и псих.

— Что из того, что басмачей нету? — строго спросил Иргаш.

У Романа сегодня было почему-то дурное настроение, а когда у него плохое настроение — он никому не уступает, готов поспорить и даже чуть-чуть побахвалиться.

— Ничего, — с вызовом сказал он. — В Южной Корее

или во Вьетнаме такие, как мы, не сказки слушают, а боевые задания выполняют, сражаются...

— Там Южная Корея, Вьетнам, а здесь — Узбекская ССР!

— И почему никогда не говорят по радио про то, что там делают ребята? В «Пионерской правде» тоже не пишут.

— Наверно, писать нечего, — сказал Иргаш.

— Ну да!.. Война там идет, и писать нечего? Так тебе мальчишки и будут сидеть и ушами хлопать. В Корее они храбрые.

— И ты храбрый?

— Я?..

Роман замялся, поглядел на Федю, словно просил у него защиты.

— Про себя только болтуны треплются. Пускай люди скажут...

Но Федя думал о своем, упрямо уставившись глазами в пиалу, наполненную холодным зеленоватым настоем. Что он видел на донышке пиалы? Какие тайные знаки показывались ему там? Может, он видел Саидку в больших крючконосых галошах на босу ногу и в широченных рваных штанах? А может, рябого старика? Или далекую родину своих отцов и дедов — неведомый город Сергач и веселых медведей с кольцом в ноздрях влажного носа? А может, еще не пойманных птиц и зверей, которых ждут клетки в школьном живом уголке? И что бы там ни было, отринув от себя приятную тяжесть тайных раздумий, Федя сказал:

— Что-то Саидка подозрительно себя ведет. В кишлак Павульган тайком ходит, с каким-то стариком встречается, Коран с ним читает. Все это я сам, своими глазами видел.

— Ну и что? — недовольно буркнул Иргаш. — Павульган — это что, Америка? В Павульгане у Саидки родни полно. В крайней кибитке тетка его живет. А Коран — где старики есть, там обязательно читают его.

— Тетка?.. — Федя смутился. — Пусть тетка, пусть дядя! — крикнул он. — Только Саидка не к тетке ходит. И все равно это скоро узнается. Вот увидите.

— Увидим — и хорошо, — с сердцем бросил Иргаш. Сдвинув на лоб фуражку, почесал затылок. — Саидка — бродяга, где пропадает — никто не знает, учитель правильно говорит: его надо поближе к себе держать. Чтобы он не бродяжничал. А мы что делаем?

— Возьми ты своего Саидку в адъютанты! Или в ординарцы! — съязвил Роман. Федя промолчал, потому что Иргаш начал сердиться.

И все-таки ребята последовали совету деда: с утра они уходили в тугаи и бродили там до самого вечера. Тургунбай волновался, ворчал и уже не раз пожалел, что подсказал им такую мысль. Нарвутся на беду. Тугаи — мир дикой породы, темный мир, там все может быть. И чтобы не казнить себя страшными догадками, он решил не отпускать ребят одних. Теперь он сам отправлялся с ними в сомнительные путешествия, оставляя бахчу и все свое хозяйство под охрану корноухого пса.

ДЕПЕША ИЗ КОКАНДА

Поздним вечером, когда над кишлаком все еще плавает облако пыли, а прохлада только лишь начинает спускаться с заоблачных снеговых вершин, мягко ложась в понизи, Джуре Насырову подали в окно записку. Из сумрака ее подала чья-то морщинистая рука. Учитель развернул конверт-треугольник. Как хорошо были знакомы ему такие треугольники: он посылал их с фронта своей матери. Но эта записка лишь на одно мгновение напомнила ему фронтовое письмо — война ушла уже в прошлое.

«Таксыр!* — вилась по листу, вырванному из ученической тетради, затейливая арабская вязь. — Ради всевышнего, ради вашей матери, ради ваших детей освободите меня из этого ада, куда ваш доктор заточил меня, больного и беспомощного. Аллах не забудет вашей милости. Он щедро вознаградит вас за доброе дело. Умоляю вас...»

Джура Насырович не без волнения еще раз прочитал записку — видно, что она написана грамотным человеком. Но рука писавшего — слабая, как у старика. Не раздумывая долго, учитель вышел из дома, поймал попутный грузовик и через час с небольшим уже сидел в кабинете главного врача стационара. Казалось, что доктор был рад ночному гостю. Он, заложив за спину руки, прохаживался по кабинету и весело поглядывал на учителя.

— Говорите, что ваши ребята назвали его Душанбой? Хе, какие молодцы! — рассуждал доктор. — Робинзоны, ничего не скажешь. А вы не думаете, что ребята

каким-то внутренним чутьем угадывают в нем нормального человека?

— Психологу виднее, доктор, — ответил учитель.

— Могу сказать одно: он нормальный человек, а уж во всем остальном — решайте сами, — доктор развел руками и слегка поклонился. — Конечно, он истощен, измучен язвами и паразитами, но психика его в общем и целом не настолько нарушена, чтобы... В общем, он здоров и уже поэтому не может находиться среди душевнобольных. Нормальный человек этого не выдерживает. Потому он и послал вам записку, — закончил доктор и уселся в кресло против учителя.

— Мне непонятно, почему он послал ее мне, а не врачу, который направил его в ваше заведение. Я ведь только при сем присутствовал, и то, если бы не ребята... Как вы думаете?

— Ну, дорогой мой, это уж его право, — засмеялся доктор. — Видимо, он больше доверяет вам, воспитателям, нежели нам, эскулапам. А возможно, у него есть и другие соображения.

— Возможно. Что теперь требуется от меня? — спросил Насыров.

— Вам надо забрать его из нашего стационара и поместить на некоторое время в местную больницу. Это необходимо для его полного выздоровления. Кстати, теперь он уже не так страшен — волосы немного подстригли. Всего не удалось. Не желает. Семьдесят два сантиметра — вот волосы! У Пятницы, наверно, таких не было...

Утром в проходной психолечебницы учителю передали больного. Он и правда уже не походил на того Душанбу, каким привели его в Ашлак. На нем была чистая пижама, на ногах — тапочки, и только голова все еще топорщилась неаккуратно подстриженными патлами. Нетронутой осталась и борода — черная и спутанная, словно моток морских водорослей, высушенных тропическим солнцем.

Насыров поглядел Душанбе прямо в глаза. Ему хотелось заметить перемену, какая произошла в них. Вместо безумия и страха он увидел в них тупое равнодушие ко всему, что окружало их.

— Чем я заслужил ваше внимание, уважаемый? — спросил Джура Насырович. Душанба молчал и глядел в землю.

— Я жду вашего ответа.

— Мне показалось, что вы добрый человек, — еле слышно проговорил он.

— А если вы ошибаетесь?

— Тогда ошибается аллах, а не я. Всевышний услышал мою молитву, таксыр.

— О-о! — воскликнул учитель. — Всевышний нам не поможет, я неверующий.

Насырову казалось, что он разговаривает с человеком, которого уже где-то встречал: мягкая, едва уловимая картавость в голосе, жесткая ужимка губ — все это еще как-то цеплялось в памяти, но было уже далеко, страшно далеко... Они вышли из проходной и отправились на автобусную остановку междугородного рейса.

— Как я должен называть вас?

— Ваши ученики назвали меня Душанбой — зовите и вы так.

— Душанба? Но...

— Не все ли равно, уважаемый! — перебил Душанба. — Я знаю, что вы учитель, а не следователь. И документов у меня все равно нет.

— Да, это так, я — учитель. Но мне не безразлично знать, почему вы написали записку именно мне, учителю, а не следователю или кому-нибудь другому?

— Вы по роду своей профессии скорее поймете меня, чем другие. Не перебивайте меня, не надо! Ведь вы же не можете согласиться с тем, что сумасшедший дом — место для отдыха?

— Понимаю вас. И тем не менее...

Душанба опять не дал ему договорить, догадываясь, что последует еще один, быть может, более жесткий и прямой вопрос.

— Там страшно, — сказал он с какой-то детской наивностью и заплакал, уткнув лицо в раскрытые ковшом ладони. Острые и прямые плечи его, точно вырубленные из древесины саксаула, напряженно вздрагивали. Учитель молчал. В его глазах не было ни сострадания, ни жалости, потому что он думал о чем-то другом.

— Но вы могли не быть там, — заметил учитель. — Вы повели себя так, что и у доктора, и у детей не появилось сомнения в том, что вы душевнобольной человек. Быть может, теперь вы объясните все?

— Нет! Нет, я не могу сделать этого, таксыр, — всполошился Душанба, словно перед ним опять появилась опасность попасть в сумасшедший дом. — Это моя личная тайна, и я не обязан о ней рассказывать.

— Как знаете. Вам виднее...

Больше говорить было не о чем. Они сели в автобус. Пассажиры сторонились Душанбы, разглядывали его одни с удивлением, другие с жалостью. А он, хотя и молчал, но уже опять напустил на себя безумие. Глаза лихорадочно бегали, лицо кривилось и вздрагивало, будто его жгла изнутри жестокая боль. Учитель удивлялся его способности перевоплощения и все больше укреплялся в мысли, что это — напускное. «Ловко получается, — думал учитель. — Артист. Ничего искреннего. Однако кто же все-таки скрывается за этой косматой личиной?...»

Покачиваясь на жестком, продавленном сиденье автобуса, Насыров мучительно перебирал в памяти свои встречи с людьми. Перед ним прошла вся его жизнь: учеба, война, друзья и недруги, но такого среди них не было. А, может, и был, да время вытеснило его из памяти.

— Куда вы меня поведете? — спросил Душанба, когда они вышли из автобуса.

— К доктору. К нашему знаменитому Мирзакул-табибу*, с которым вы уже знакомы.

— Ради аллаха всемилостивейшего! — затрясся от испуга Душанба. — Отпустите меня, и я всю жизнь буду молиться за вас.

— За меня не надо молиться. Куда вы пойдете? Снова в тугаи?

— Куда?

— Вот именно — куда? И не просите, — поднял руку учитель. — Отпустить больного человека, у которого, кажется, нет здесь ни родных, ни знакомых, где бы он мог остановиться и поправить свое здоровье, — это не только бесчеловечно, но и преступно по нашим законам. Неужели вы, будь на моем месте, поступили бы иначе?

Душанба наклонил голову.

— Я боюсь этого табиба, — сказал он, чтобы не объясняться больше с учителем. — Боюсь лекарств и белых халатов. Всего, что там есть...

— Напрасно. Вам надо поправить здоровье, и наш доктор, уверяю вас, сделает это быстрее, чем кто-либо другой. Конечно, это будет во многом зависеть и от вас, от вашего поведения.

Душанба медленно передвигал ноги, точно боялся разносить тесные и не привычные его ногам тапочки. Ему не удалось и на этот раз избежать больницы. Хоро-

шо это или плохо — он пока не мог знать, да и не все ли равно, в конце концов...

Доктор Мирзакул встретил их в дверях. Внимательно оглядел старого знакомого. Прочитал направление, которое ему передал учитель, и, ни о чем не расспрашивая, велел сестре отвести больного в палату. Когда сестра взяла Душанбу под руку, он испуганно засуетился в дверях и такими горестными, полными безнадежности глазами поглядел на учителя, словно прощался с жизнью. Чтобы успокоить его, Джура Насырович сказал:

— Не волнуйтесь, все будет в лучшем виде. Желаю выздоровления!..

УЧИТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

Джура Насырович шагал вдоль прокаленного солнцем дувала, от которого, как от степного проселочника, исходила знойная духота. Он шел и будто слышал чей-то голос, настойчиво твердивший: «А не зайти ли тебе, учитель, в милицию?.. Душанба, Душанба — это ведь только ребячья выдумка, игра. Кто он? Может быть, он вовсе не Душанба, а сам Робинзон? Взрослый человек и никаких документов. Ну что тебе стоит зайти? А вдруг завтра...»

— Что «завтра»?! — словно кто-то больно ударил Насырова в грудь. Он остановился в том месте, откуда начиналась прямая дорога в милицию. — Фу, черт!..

Зайти в милицию?.. Конечно, в этом ничего нет плохого. Но такое решение скорее всего мог бы принять главный врач из Коканда, которому дело представляется гораздо яснее, чем кишлачному учителю. Да и почему нужно вести в милицию больного человека? Только потому, что у него нет документов?

Насыров вспомнил войну, штрафную роту, где ему привелось послужить всего лишь два месяца — нет, он не был «штрафником», он был храбрым, испытанным во многих боях политработником, поэтому и назначили его политруком этой роты. Вспомнил, и сразу что-то вздрогнуло в нем.

«Нет, нет, война давно кончилась, я знаю, что делаю. Я учитель, и мне трудно будет объяснить моим ученикам свой поступок. Подозрения — это еще не сама истина, и далеко не самый короткий путь к раскрытию преступления. А может, и нет никакого преступления? Какая-нибудь тайна — вот и все...»

В тяжелом раздумье он постоял с минуту на той улице, где находилась милиция, и, наклонив голову, быстро зашагал в противоположную сторону.

...Возле школы играли дети. Джура Насырович сидел на крыльце, думал, вспоминал... Дети не мешали ему. Напротив, их звонкие голоса как бы напоминали ему, что он находится не где-то в заоблачных далях, а у себя дома, на школьном крыльце. Недалеко от него ребятишки: его ученики, и те, кто придет в школу через год либо через два. Они гоняют футбольный мяч, падают, смеются, озорничают. Они ликуют от счастья. Но день уже на исходе, им скоро придется оставить игры. Скоро... И снова он представил себе другого человека — Душанбу. Будет ли он в эту ночь отдыхать так, как эти дети, как все люди, — спокойно, с уверенностью в завтрашнем дне? Скорее всего нет. Всякий уличный звук, всякий шорох в больничных коридорах — все будет вызывать в нем тревожное ожидание и страх перед неизвестным.

Возле школьного крыльца пробежали мальчишки, гонясь за мячом. Кто-то кричал:

— Ге-не-ра-ал! Где ты-ы-ы?..

Насыров поднялся и пошел навстречу ребятам. Перебивая друг друга, школьники стали рассказывать учителю об играх, о живом уголке — кто о чем. Иргаш и Роман стояли поодаль. Они ждали. Теперь мысли их больше всего занимал Душанба — больше, чем игры и живой уголок.

— Иргаш, Роман, Федя... Поговорить надо, — сказал учитель. — Я жду вас.

...На следующий день ребята пришли в больницу. В руках у Иргаша был узелок — дастархан*. Мальчишки переминались с ноги на ногу и ждали, когда к ним выйдет Душанба. Но вышла молоденькая девушка в белом халате и сказала, чтобы они шли за ней. В комнате, похожей на столовую, сидел он. Поздоровались хором, как в классе. Душанба не ответил на приветствие. Глаза его бездумно и холодно глядели куда-то в пространство. Иргаш отдал свою фуражку Роману и принялся развязывать узел.

— Это мы вам принесли. Кушайте, — с ребячьей торопливостью объяснял он, подвигая к Душанбе плотные, словно отлитые из цветного стекла, грозди раннего винограда. Исцарапанными пальцами Иргаш развернул еще один сверток: в нем были персики Нельзя

было оторвать глаз от сочных, прогретых солнцем, пронизанных его золотистым светом плодов. Но Душанба сидел и будто ничего этого не видел.

— Доктор говорит, чтобы вы хорошо кушали, — это полезно вам, — заговорил Федя. — Вот мы и принесли. Вы не думайте, что мы... — но он так и не нашел, чем закончить свою речь.

— А еще доктор говорит, что вы скоро поправитесь, — продолжал Иргаш. — Что надо вам, скажите — мы принесем. А если вам плохо или болит — не стесняйтесь — мы уйдем, не станем мешать.

Сколько простоты и честности было в глазах Иргаша! Похоже, что он уже забыл, что было в тугаях, что им рассказал дед. А Федя — этот, кажется, готов был взяться за самое невыполнимое желание Душанбы, только бы он не страдал. Но Душанбу это бескорыстное мальчишеское участие скорее раздражало, чем успокаивало.

— Мы еще принесем...

Душанба безучастно молчал. И только когда ребята собрались уходить, глаза его вдруг покраснели. Поморщившись, он сжал кулаки, тряхнул головой и, ничего не сказав, ушел в палату.

Из больницы ребята пустились наперегонки. Они торопились рассказать обо всем учителю, хотя заметного успеха в их предприятии пока не было. Но это не беда. Радость была хотя бы уже в том, что они выполняют важное поручение.

Учитель терпеливо слушал рассказ мальчишек: не перебивал, не задавал вопросов, даже не наставлял, что делать дальше, — пусть будет все так, как сумеют. Назвали же они этого тугайного обитателя именем хорошего человека, так пусть же он и остается таким в их воображении, пока ничего не прояснилось. Но его настораживала несдержанность и горячность Романа. Похоже, что у того не было желания, а тем более — терпения возиться с неряшливым и неблагодарным тугайником.

— Не нравится он мне, Джура Насырович, честное слово не нравится! — заявил Роман, чтобы отвязаться от ребят, которые завели меж собой спор. — Он меня по лицу ударил, поцарапал... Зачем мы перед ним эдак вот, — он показал рукой так, словно просеивал сорное зерно. — Зачем унижаемся перед таким?..

— Унижение — это слово здесь не подходит, Роман. В любом случае нельзя отказать человеку в помощи —

запомни, кто бы он ни был, чтобы он ни скрывал от людей — он человек, а в беде, как тебе известно, все люди равные. И все нуждаются в помощи.

Однако Роман уже закусил удила и продолжал стоять на своем:

— Он дурачка выгибает, а мы возле него туда-сюда ходим: пожалуйста, пожалуйста — как это называется? Спрашиваем: кушать желаете? Чего вам еще принести, ваше тугайное космачество? Пожа-алуйста, мы принесем! — Эти слова в большей мере относились к Иргашу. Джура Насырович смеялся, искренне удивляясь Ромкиному артистизму.

— Нет, Ромочка, на все сто процентов не согласен с тобой! — вступил в разговор Федя. — Ты думаешь, Робинзон Крузо мало повозился с Пятницей? Думаешь, все у него было гладко? И Пятница сразу понял его, да? — Роман сердито глядел на Федю: ну, ну, давай, что ты еще скажешь? — А кроме того, Ромка, ты не хочешь понять, что он больной.

— Ты выискал у него болезнь? Интересно, какую?

— Я не доктор. Сейчас даже преступников перевоспитывают.

— Ну и что из этого?

— Ничего, получается. Берут его, этого преступничка, на какие-то поруки и, пожалуйста, — через два месяца из него хороший человек получается. А он что, хуже?

— Комсомольца хочешь из него получить!

— Он переросток, таких не принимают.

— Пусть он нехороший человек. Пусть злой. По морде тебе дал, толкнул, — снова вмешался Иргаш. — Но ты заметил: у него слезы потекли из глаз, когда мы уходили. Отчего он заплакал?

— Слезы потекли? — переспросил учитель.

— Ага, — подтвердил Иргаш.

— Это хорошо, когда текут слезы у мужчины... — о чем-то думая, заметил учитель.

Вечером ребята снова пришли в больницу, но к больному их не пропустили. Федя подтолкнул Иргаша в бок и кивком головы показал на дверь.

— Я знаю, в какой он палате. Пошли, сейчас увидим его.

— А зачем нам видеть его? — фыркнул Роман. — Теперь так и будем целыми днями торчать в больнице?

— Надо же как-то поговорить с ним.

Но говорить не пришлось. Окна были затянуты плотной сеткой. В одном из них виделся силуэт человека.

— Это он, — сказал Федя, прячась в тени карагача.

— Думаешь, только один он там лечится? — заметил Роман.

— Не один. Видно же, вон его косматая голова. Погляди хорошенько.

— Разглядывать еще такого, и не подумаю! Он ненавидит нас. Попадись ему в руки — задушит любого.

— Перестань, Ромка! — прикрикнул Иргаш. — Зачем джанджал* такой заводишь? Чего ты обозлился? Конечно, это он. Борода большая. Гляди.

— Ну и любуйтесь на бороду, как на знаменитую картину! — вспылил Роман. — Эх ты, безголовый Генера-ал!.. — повернулся как волчок и убежал.

— Что с ним? — спросил Федя.

— Поганый жук укусил, — пожал плечами Иргаш. — Очень жалеть потом будет...

Но настроение у ребят было испорчено. Безнадежно вглядываясь теперь уже в темное, как провал, больничное окно, они покинули палисадник.

МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА

В проулке, недалеко от больницы, ребята столкнулись с Саидкой. Побрякивая пустыми консервными банками, подобранными на свалке, он как тень пробирался вдоль дувала.

— Куда?! — наскочил на него Иргаш, все еще находившийся под впечатлением неприятной размолвки с Ромкой. — Опять побрякушки для дивоны собираешь, мусорщик!

Саидка съежился и, кажется, весь ушел под свою большую мохнатую шапку.

— Я не трогаю вас. Иду домой. Не задеваю... — чуть слышно пролепетал он.

— Еще бы ты вздумал задеть меня!

— А где твой дружок? — вызывающе спросил Федя.

— Какой дружок? Нет никакого дружка.

— А рябой старик, которому ты Коран читаешь, кто он тебе? Что?!

Словно кипятку хлебнул Саидка и присел. После того, что он услышал, продолжать разговор бесполезно — все равно изобьют.

— Дивоной собираешься стать, как отец, да? — подталкивая Саидку в бок, допытывался Иргаш. — Распустился совсем, и голова у тебя глупая стала, пустая, как тыква. Брось жестянки!

— Не брошу! Не отдам! — крикнул Саидка. — Бейте, а все равно не отдам!

— Стоит об тебя руки марать. Мусорщик...

Бить его никто не собирался. Иргаш, конечно, думал припугнуть мальчишку, а дальше дело покажет, как поступить. Однако он не забывал, как однажды Джура Насырович оборвал его, когда он, смеясь, стал рассказывать о Саидкиных похождениях. Учитель тогда сказал: «В том, что Саид бродяжничает неизвестно где и с кем, виноват не только я — вы, его бывшие одноклассники, тоже виноваты, и надо подумать, как исправить ошибку». А что можно сделать с этим бездельником, если он сам не хочет учиться?

— Пойдем с нами? — сменив гнев на милость, предложил Иргаш.

— Куда?

— В школьном саду работы много. Урюк надо убирать. Сушить надо. За деревьями ухаживать надо. Пойдешь?

— А кто Коран читать будет? — язвительно заметил Федя.

— Погоди, Сергач! Не лезь, куда тебя не просят... Пойдешь, Саиджан?

В потемках раза два туда и сюда, как часовой маятник, качнулась Саидкина шапка — это его молчаливый ответ: «Нет, не пойду. Делать мне у вас нечего». У Иргаша вспыхнуло желание стукнуть по шапке как следует, но он сдержался.

— С бродягами плов кушаешь, чай пьешь. Вот ты и есть настоящий дивона!

Федя было прижал Саидку к дувалу, но Иргаш оттолкнул Федю.

— Оставь! Пусть идет куда хочет — нам таких не надо.

...Когда наступает тепло, Саидка забирается спать на крышу своей кибитки. Нет другого места на их дворе, которое бы Саидка любил так же, как эту плоскую земляную крышу: весной в пору дождей она зарастает дикими маками; летом маки высыхают и серая крыша становится похожей на шкуру дикобраза — так колюче топорщатся сухие стебли на ней. Здесь Саидке никто не

мешает, никто и ни в чем не упрекает его, и оттого он чувствует себя сильным и всевидящим. В дневное время — весь кишлак как на ладони: глинобитные клетки тесных дворов, точь-в-точь как пчелиные соты; беседки, горбатые от тяжелых виноградных лоз; дороги, по которым бегут туда-сюда машины и тракторы. Хорошо глядеть со своей крыши на то, как живут в кишлаке люди. Ночью над столетними кишлачными чинарами встает луна. И тогда все вокруг становится чужим, каким-то далеким и призрачным. И сама жизнь меняется: дворы кажутся не пчелиными сотами, а колодцами либо ямами, и дорог не видно, и гула машин не слышно. Только собаки тявкают да порой заголосят на весь кишлак петухи. Саидка любит эти часы позднего вечера. Укрывшись халатом, он лежит на не остывшей еще крыше и прислушивается к стрекотанию цикад. Но не всегда он чувствует себя сильным и всевидящим, порой ему становится так одиноко, что он готов плакать. Отчего? Да оттого, что у всех есть какое-то дело: у одних работа, у других ученье. У него нет ни того, ни другого. У всех мальчишек есть дружки и товарищи, у него — никого. Нехорошо так жить, думает он. А плакать — какой толк? Слезы не деньги, за них даже кислого молока никто не продаст. Все равно завтра опять рано вставать и идти. Каждый день надо толкаться по базарам и глядеть на всех глазами голодной собаки. Ну разве же это назовешь делом? А вот Иргаш ничего не понимает. Он хочет, чтобы Саидка ходил в сад на работу. Ему легко живется, отец его не дивона Муслим... От таких раздумий Саидке становится жарко, он сбрасывает с себя халат и лежит на голой земле крыши с закрытыми глазами. Он не видит ни луны, ни столетних чинар, ни притихшего кишлака — сейчас другое у него на уме. Откуда этот хитрый Сергач узнал, что он встречается с рябым стариком и читает ему Коран? Кто ему сказал? Долго, мучительно долго думает Саидка, но разгадать этой загадки не может. Он не верит, что Сергач проследил его в то утро, когда они случайно встретились. Саидка убежден, что он обманул тогда Сергача, ведь всю дорогу, до самого Павульгана, проверял: не идет ли за ним Сергач. Его не было.

«Узнал, Коран я читаю. Пусть знает. Иргаш не умеет, Ромка не умеет, Сергач тоже не умеет — я умею. Эх, Сергач-моргач... — Саидка сдержанно улыбается и шмыгает носом. — Ты все знаешь, Сергач, ты умный. Хорошо, да? Нет, Сергач, ты глупый, ты ничего не знаешь. Если

умный, скажи, кто тот косматый тугайник? Э-э, не знаешь. А Саидка знает. Саидка на крыше сидел, все видел, и когда в Коканд его повезли — тоже видел. Саидка никому не сказал. Вот здесь Саидкина тайна, — постучал он в грудь. — И рябой старик ничего не знает. Один человек знает — Саидка!..»

Ему стало весело оттого, что и у него появилась своя маленькая тайна. Легче ему будет жить с этой тайной или труднее — он не знает и пока не стремится узнать.

ОДИНОЧЕСТВО

Роман не стал пить парное молоко, которое ждало его на столе. Не показался на глаза матери — сорвал с вешалки отцовский брезентовый дождевик и убежал в сарай на снопы свежевысушенного клевера. За камышовой стенкой тяжело и сыто вздыхала корова, мягко перетирая жвачку. Время от времени она встряхивала головой, отгоняя мух, и тогда брякало ботало, подвязанное у нее на шее. Вначале Роман не обращал на это никакого внимания, но потом железная брякотня стала выводить его из терпения, он стал возиться, нервничать.

— Всю ночь, что ли, будет тарахтеть? Не уснешь! — он повернулся набок, закрыл глаза. Корова еще сильнее затрясла боталом. — Скотина, эй, скотина! Кончай, пожалуйста... И эта развалина когда-то называлась бизоном, смешно, — раздражительно пробормотал он. — А может, зубром? Может, чертом рогатым — от этого мне ни жарко ни холодно. Человек корову назвал скотиной... — Он принялся отфыркиваться от прилипших на лицо сухих лепестков клевера, злился. — А вот Генерал и Сергач — у них все наоборот: хотят из дикаря сделать человека. Зачем? В живой уголок посадить? Э-э, пусть что хотят делают...

Не умея размышлять спокойно и сдержанно, он еще больше раздражался. Все было не так, как хотелось ему. В дыру, проделанную кошками в камышовой крыше, проглядывал зубчатый кусок неба, на нем слабо мерцали звезды. Ему казалось, что звезды, покачиваясь, спускаются все ниже и вот-вот нырнут в эту разрытую кошками дыру и упадут на него. Он повернулся лицом к стене. А буренка все так же тяжело вздыхала, побрякивала боталом и пережевывала жвачку.

— И пусть делают!.. — чуть не закричал он. — Уйду к дедушке Хвану. Лучше... Лучше змей ловить буду!..

Весь следующий день Роман валялся на сеновале, а то сидел во дворе, возле арыка, пускал бумажные кораблики и, сердито хмурясь, гадал: придут или не придут? Мальчишки не пришли.

...Поднялся чуть свет. Улучив момент, когда мать выгоняла со двора корову, Роман вынырнул из своего логова на сеновале и незаметно юркнул в дом. Поплескавшись под умывальником, оделся, запихал за пазуху лепешку и, накинув на плечи куртку с поломанной застежкой «молния», вышел. Вспомнив что-то, вернулся в комнату. Вырвал из тетрадки листок и написал: «Мама, отправился к деду Хвану. Есть срочное-пресрочное дело: повидаться и потолковать надо. Вчерашнее молоко немножко «задумалось», но я сыт. Роман».

«Правильно. А то еще станет расспрашивать: куда? зачем? Покушай сперва. Чего глаза у тебя грустные? Где твои товарищи? А потом возьмет и не отпустит. Знаю я ее», — рассуждал он, поспешно шагая по тропке, пробитой через поле люцерны.

О ребятах больше не думал. И в самом деле, ему давно хотелось повидать дедушку Хвана и поговорить с ним о самых важных делах — о войне в Корее. С кем можно обсуждать такие вопросы, как не с ним — старым партизаном? А еще думал он о письме, посланном в «Пионерскую правду». Думал о нем каждый день и страшно негодовал, когда встречался в махалле* с почтальоном Умурзаком, который молча разводил руками и печально улыбался, как бы говоря этим: «Забыли тебя, Роман, только один я не забываю. Но, как ты знаешь, я не отвечаю на письма. Я только доставляю написанные». Кто знает, быть может, от этого Роман в последнее время стал заметно вспыльчив и раздражителен. Самые сокровенные мечты связывались у него с тем письмом, он даже и в мыслях не держал, что ему могут отказать, а хуже того — не ответить. Все дальнейшее он представлял не иначе как в действиях, в картинах. Вот он прилетает на серебристом большом самолете в Пхеньян. Его, конечно, встречают с цветами корейские пионеры и школьники. Долго и задушевно они беседуют о самых важных делах. И вот он, Роман Пак, уже с автоматом на шее, с ножом за широким солдатским поясом, в партизанском отряде. Первый бой с неприятелем, и, конечно, неравный, но он, бесстрашный разведчик Роман, побеж-



дает врагов. Его грудь украшает первый боевой орден. А потом... Потом он пишет письмо Генералу и Федьке Сергачу. Какая радость!.. Они приезжают к нему прямо на передовую, вручают подарки знаменитым разведчикам, раздают письма от пионеров и школьников, а одно письмо — лично ему, Роману, от самого Джуры Насыровича. И пусть у Генерала и у Сергача не такие узкие глаза, и они совсем не похожи на корейцев — это ничего не значит. Это даже лучше. Они ведь добровольцы интернациональной бригады, какие сражались когда-то в Испании. А добровольцам в любом деле дорога открыта. Им всегда рады. Роман зачисляет их — да, да, именно он! — к себе в разведку. Только уж Генералу такой воли, какую он имеет в кишлаке Ашлак, здесь не видать. Дисциплинка прежде всего. Ну Генерал — парень не глупый, он поймет. Каждый из них действует смело и даже дерзко, как в самолучшей кинокартине «Подвиг разведчика»!..

Перед глазами у Романа сейчас не только «Подвиг разведчика» — целый кинофестиваль! Но... Джура Насырович говорит, что кино — хорошее дело, игры и спорт — тоже хорошо. А за ученьем на первом месте стоит труд. Труд... На лето опять столько всего понамечали. Главное —

работа в школьном саду. В живом уголке тоже каждый день торчать надо. Одному Сергачу ни в жисть не управиться. Скоро хлопок подоспеет. А тут еще Душанба навязался...

К полудню Роман дошел до тропинки, которая вела на бахчу к деду Тургунбаю. Остановился. Сорвал тощий колосок пшеницы, размял его в потной ладони и, выдув полову, закинул в рот жесткие, как стекло, зерна. Подумал и решил идти прямо — нечего на бахче делать, только время терять. Дорога скоро кончилась, и Роману пришлось идти через заросли черного камыша и пырея. Этот путь он выбрал для того, чтобы миновать кишлаки, чтобы не брести по пыльной, забитой машинами и арбами дороге. И конечно, чтобы не встречаться с мальчишками. В тугаях не было такой лютой жары, какая сжигала степь, зато здесь было душно, как в парилке. И, чтобы утолить жажду, Роман рвал еще зеленые ягоды ежевики и, морщась, жевал их. С тропы не сходил — он знал из рассказов бывалых людой, что там, где растет ежевика, — змеи. А встречаться с гадюкой в зарослях да еще один на один — занятие не из приятных. Над головой у Романа гудело, позванивало и пело на разные голоса — это мириады всякого тугайного гнуса. Но Роман не Федя Пестунов, чтобы любоваться живностью. Лишь на минуту останавливался он, когда из-под ног срывался фазан или турач, и то потому, что это пугало его и злило: «Бешеный петух, обязательно ему надо на тропу садиться»!

Наконец он выбрался из глухой впадины на возвышенность; кустарник поредел, камыши пошли низкорослые и редкие, а трава — совсем сухая и ломкая. Приостановившись на вершине холма, чтобы лучше разглядеть тропу, почти затерявшуюся в кустах, Роман заметил человека. И каково же было его удивление — снизу по тропе поднимался Саидка. «Ого, мулла Саидка, вон ты куда забрался!» — с веселым злорадством проворчал Роман. Саидка теперь больше чем когда-либо походил на бездомного попрошайку: за спиной тощий мешок, в руках палка. А на голове колпак дервиша, отороченный мехом шакала. Бродяга и есть бродяга. Он то и дело оглядывался назад, будто кого-то ждал и боялся разминуться по разным дорогам.

— Ну-ну, разделаюсь я с тобой, как повар с картошкой. Ты все мне расскажешь, я тебе не Сергач... — Роман спрятался за кусты и приготовился.

Пропустив Саидку мимо себя, Роман прыгнул ему на спину, как прыгает волк на неуклюжего сайгака, и свалил его с ног. Началась борьба. Роман был сильнее и увертливей. Но Саидка сопротивлялся не только силой — отчаянием обреченного на поражение. Он визжал и царапался, как девчонка, даже плевался, что было противно любому мальчишке. Однако все попытки Романа уложить на лопатки Саидку ни к чему не приводили.

— Не ори, задушу! — хрипел в ожесточении Роман. — На вот тебе, на!..

Саидка начал слабеть, но все еще сопротивлялся, бил ногами. Под руку Романа попала дервишская шапка, и он заткнул ею кричащий Саидкин рот.

— На вот, подавись!

Еще минута, еще одно усилие — и Саидка, совсем ослабевший, раскинет руки, перестанет плеваться и брыкаться и скажет: «Сдаюсь». Но Романа вдруг охватил страх: кто-то тяжелый, как куль с кукурузным зерном, навалился на него, в нос ударил резкий запах чеснока и пота. Роман рванулся, но тяжесть все плотнее прижимала его к земле. Саидка выскользнул из-под него, как рыба. У Романа перехватило дыхание, но он не кричал, как Саидка, он только разевал рот и таращил глаза, но ничего не видел. Потом он ощутил такой силы удар в затылок, что перед глазами в кромешной тьме замелькали вдруг яркие звезды. Потом они стали меркнуть, как те, на которые он еще позавчера глядел в дыру, проделанную кошками в крыше сарая...

ГДЕ Я?

Долго ли продолжалась ночь — Роман не знал. Проснулся он неожиданно, как всегда, как дома. Только не мог с прежней легкостью подняться на ноги — они не слушались его, в голове гудело и позванивало, как в пустом ведре на ветру. Напрягая всю свою волю, он наконец повернулся. И первое, что увидел, — Саидку. Тот сидел неподвижно, подобрав под себя ноги, — так сидят в чайхане старики. Но здесь не чайхана, а всего лишь песчаный курган, заросший по склону серым от пыли бурьяном.

— Где я? — едва разомкнув спекшиеся губы, спросил Роман, ни к кому не обращаясь.

Саидка молчал и продолжал глядеть куда-то в сторону.

— Я ведь у себя дома, в кишлаке Ашлак, — чего мне?..

— Ты — у «волосатых ишанов». Поганое болото здесь, — не поворачивая головы и, кажется, безучастно и холодно ответил Саидка.

Роман вздрогнул от страха, оглянулся вокруг. Хотелось разобраться в том, что случилось, мало ли что болтает Саидка — он-то хорошо знает, куда и зачем он шел. Ну а что же было потом, когда он оказался в тугаях?.. Нещадно палит солнце, ни жилья человека, ни деревца — одни немые, дышащие зноем холмы и ненавистный оборванец Саидка. Он как сыч: напыженный и таинственный, сидит и молча поводит глазами, будто выискивает несчастных мышей. А где же эти «волосатые ишаны»?.. Врет он, бродяга. Врет, чтобы посильнее напугать. От этой мысли на лице Романа появляется подобие улыбки.

— Что молчишь? — тихо спрашивает Роман. — Ну, где «волосатые»? Ты всегда врешь. Молчал бы уж, вралина.

— Тебе тоже надо молчать, — отозвался Саидка. Потом он сполз по склону холма вниз и прижал к земле разросшийся куст бурьяна у подножья. — Глядя сюда!..

Романа бросило в озноб. Не более как в сорока шагах от него стоял шатер, красуясь пестротой старых и новых заплат, а возле него сидел человек, почти такой же, как Душанба, — голый и черный, точно отлитый из чугуна, только не такой хилый, а здоровый и крупный. В руках у него — кость-мосолыга, он с голодным ожесточением обгладывал ее.

— Гузархан-хальфа, — прошептал Саидка. — Сильный. Страсть какой сильный человек.

В этом нельзя было усомниться — косматый нехотя повернулся, широченная спина его, кажется, заслонила все перед взором Романа. Отбросив обглоданную кость, он на четвереньках добрался до кучи бурьяна, выкатил оттуда большую, как торпеда, дыню, располосовал ее ножом и принялся есть. Роман почувствовал, как больно повело ему челюсть и потекли слюни. Он забыл, когда последний раз ел, — лепешки, взятой из дома, за пазухой не было.

— Ну гад! — процедил он сквозь зубы. — Береги свою поганую башку.

Саидка молчал, словно эти оскорбления его совсем не касались. Он глядел поверх головы Романа и о чем-то трудно думал.

Ох, как ненавидел Ромка сейчас этого оборванца. Не будь там, внизу, страшного человека, он кинулся бы на Саидку, и никакая боль не помешала бы его решимости расквитаться за подлость. Но пока это не в его силах... Он притих и стал думать. Вспомнил Федю и его рассказ о Саидкиных похождениях. «Почему я пропустил мимо ушей все, что говорил Сергач? — думал он, кусая губы. — Лопух, смеялся над Сергачом... Надо было тогда еще отколотить этого барахольщика. И Генерал тоже — тетка у него в Павульгане живет. Вон тут какие тетки, с бородами...»

Саидка вдруг приподнялся, задрал исхлестанные полы халата и скатился с бугра вниз. Через несколько минут он вернулся чем-то встревоженный.

— Спит. Идем скорее, там землянка есть, — захлебываясь, зашептал Саидка.

— Никуда не пойду! Не обманешь!

— Ты — совсем дурной и безголовый. Убьют! Они не знают, что ты здесь. Пойде-ем! — Схватив Романа за руку, он потащил его за собой. — Скорее! Проснется хальфа — плохо будет...

Скатившись по горячему песку вниз, Саидка поволок Романа через заросли бурьяна и, напрягая последние силенки, кое-как затолкал его в землянку.

— Сиди тихо! — погрозил он кулаком и убежал.

Землянка оказалась просторной, с полуобвалившейся передней стенкой, где должна быть дверь. Здесь пахло полынью и прелой травой. Роман лежал на куче прошлогоднего камыша и никак не мог взять в толк, что происходит вокруг; кружилась голова и сильно болела нога, а во рту было так сухо и горько, словно он наелся полыни. Скоро вернулся Саидка. Поставил возле Романа ржавую консервную банку с водой. Достал из-за пазухи кусок лепешки и накрыл им банку.

— Твой обед, — сказал он и опять куда-то исчез.

Роман, не вставая, дотянулся рукой до консервной банки и со всей силой, какая еще была в нем, двинул кулаком. Банка загрохотала об стенку. Вода выплеснулась на жесткую, как камень, землю и долго перекатывалась по ней округлыми, точно ртуть, каплями.

— Пре-предатель! — чуть слышно прошептал Ромка.

ПРОЯСНЕНИЕ ПАМЯТИ

Когда учитель узнал от ребят, что Душанба заплакал при их последнем свидании, ему еще более, чем раньше, стало ясно, что бесноватость — это только маска. Если так — маска рано или поздно снимается. Учитель продолжал верить, что он имеет дело не с психопатом, а с человеком, которому, по-видимому, надоела бессмысленная и непостижимая жизнь. Но учитель не спешил с выводами и не старался сейчас же разгадать причину такого странного поведения Душанбы. Вот поэтому, когда к нему опять пришли ребята и рассказали о своих новых наблюдениях, он дал им заранее припасенную книгу «Насреддин в Бухаре» и сказал:

— Самое лучшее лекарство, ребята, — хорошая и веселая книжка. Отнесите ему.

— Так он же неграмотный, Джура Насырович! — воскликнул Федя уверенно. — Как Пятница у Робинзона: ни читать, ни писать — дикарь дикарем!

— Но он же не Пятница, а Понедельник, и потому он умеет и читать, и писать, — сказал учитель и загадочно усмехнулся. — Он грамотный.

— Грамотный?! — Иргаш все еще не решался поверить. — А почему он молчит? Он глухонемой или, быть может, языка у него нет?

— Все у него есть, ребята. Все для того, чтобы понимать и быть понятым. Только мой совет вам: не торопитесь, умейте ждать. И еще — не надоедайте ему своим вниманием. Так будет лучше...

Иргаш и Федя снова в больнице. В узелке, кроме фруктов и кишмиша, книжка про хитрого, но честного Насреддина. Доктор Мирзакул разрешил ребятам оставить передачу дежурной сестре, сказал, что у больных — час отдыха, и не пропустил их дальше порога. Сами виноваты: пришли не вовремя. Ребята потоптались на крыльце и ушли.

— Надо было еще сказки принести, — сказал Федя. — Читает, наверно, плохо, по складам. Что серьезное — не поймет, а в сказках просто: про волка, про медведя, про лисиц.

— Он сам как волк, ему больше про людей надо читать. И про хороших людей, а не про всяких.

— Интересное у нас дело, Генерал. Правда?

— Не знаю.

— Чего не знать? Конечно... Ромки вот нет — жал-

ко, — с грустью заметил Федя. — Заходил, мать сказала: пошел к дедушке Хвану. А нам не сказал, обиделся.

— Придет. Позадается немножко и придет. За такое ему надо бы хорошую трепку дать, — сердито сказал Иргаш.

Они присели у карагача в палисаднике и стали ждать, когда появится в больничном окне Душанба. Федя продолжал думать о Ромке. Ему как-то неуютно было оттого, что его нет рядом, не слышно его озорного смеха. Конечно, Ромка есть Ромка, он никуда не денется и не пропадет, но все же раздор такой ни к чему. Федя не любит, когда ссорятся, а в этом случае он еще и убежден, что Ромка не прав.

— Сергач, уснул, что ли? Гляди!

У окна сидел Душанба с книгой в руках. Отсюда было видно, как он улыбался, перелистывая страницу за страницей.

— А ты говорил: не поймет, — шепнул Иргаш. — По-арабски читает!

— Ты тоже говорил. Значит, Ромка правду сказал: обманывает всех, чего-то скрывает.

Душанба неожиданно рассмеялся. Но смех этот совсем не походил на тот лешачий хохот, каким он наводил страх на людей. Сейчас он смеялся, как человек, которому весело, у которого на душе покой и радость. Смеялся и что-то говорил, пока не увидел ребят, затаившихся под карагачем. Увидел и тотчас же бросил книжку, но не ушел, а распахнул окно и уселся на подоконник. И опять все началось по той же нехитрой схеме.

— Забесился, — прошептал Федя.

— Ему стыдно, понимаешь? Он взрослый. С учителем говорил, с доктором, наверно, тоже говорил, а с нами не хочет. Стыдно. Какой еще подход придумать к нему?.. Давай уйдем. Пусть успокоится.

Ребята ушли. Они уже не видели, как в бороде у Душанбы снова заблестели слезы. Не видели, как кинулся он на койку и так закричал, что больные поднялись на ноги.

...Утром в больницу пришел Джура Насырович. Еще вчера он узнал от доктора о новой вспышке психоза у Душанбы, после того как ему вручили передачу, принесенную ребятами. Насырову захотелось поговорить с Душанбой, он шел на эту встречу раздраженный и думал, что пора сказать этому человеку все, что он о нем

думает. Доктор проводил учителя до палаты, а сам отправился на обход больных.

Еще из двери учитель заметил нечто непонятное: на койке, где должен лежать Душанба, сидел другой человек: без бороды, с аккуратно постриженной головой. Учитель поздоровался. А тот даже не пошевелился, сидел на краю койки и глядел холодными чужими глазами в пространство. Худой и болезненно-желтый, с остро выпирающим кадыком на тонкой как палка шее — сидел тихо, точно приготовился к смерти.

— Что такое?.. Это вы?! — в изумлении остановился Джура Насырович.

— Да, это я, учитель, — устало промолвил Душанба.

И вот то самое, что беспокоило учителя много дней, тревожно волновало его, сейчас вдруг прояснилось и как-то больно задело за живое. На больничной койке сидел человек, которого он знал.

— Я не ошибусь, если назову вас по имени? Вы — Алихан Рузыев? — спросил Насыров, присаживаясь на табуретку. Но тот, кого он назвал Рузыевым, о чем-то думая, разглядывал и потирал пальцы на правой руке.

— Как это случилось — может быть, скажете?

— Ничего нового, а все что было тогда — вы знаете, учитель, — ответил Душанба. — Вот так, с тех пор... — Он поднялся с койки и смело шагнул к двери, возле которой стоял учитель. — Растерялись? Не правда ли? — В голосе Душанбы появилась не только смелость, но еще и издевка, он, кажется, был доволен разыгранным спектаклем и теперь ждал того, что должно произойти сейчас или несколько позже. — Идите и расскажите где следует. Это все, чего я жду от вас, учитель.

— Понимаю, хорошо понимаю вас. Но прежде чем принять какое-то решение, нам надо сперва самим поговорить обо всем.

— Рассказывать буду на допросе у следователя.

— Тогда объясните: какая была необходимость открываться передо мной?

— Надоело обманывать! — с вызовом крикнул Душанба. — Ложь хуже яда. Все надоело. Все!..

— Я не совсем понимаю вас.

— Тем лучше!

— Еще один, последний, вопрос, — сказал Насыров, не замечая того, что он невольно вступает в роль следователя. — Означает ли ваше «все надоело», что вы порываете с прошлым?

Молчание было тяжелым и долгим. Насыров не торопил, он хорошо понимал, как нелегко взять на себя смелость сказать правду.

— Вы можете не верить мне — ушел я по своей воле. Ушел и порвал! И давно! — раздраженно крикнул Душанба и протянул Насырову тощие руки, будто хотел сказать этим жестом: неужели ты не видишь, каким я стал? Неужели я сам — не доказательство моих страданий? Неужели в моем отчаянном положении еще можно обманывать и людей и себя? — Но прошу не впадать в заблуждение: ушел я не для очищения совести, а для того, чтобы умереть. Хотел только смерти. И если бы не ваши дети, аллах принял бы мою смерть там, где они меня нашли, и никто не узнал бы, что Алихана Рузыева больше нет. Зачем ребята отогнали от меня смерть, когда она уже протянула мне руки?

— Они — живые люди, а люди не могут поступать иначе...

За Рузыевым пришла сестра, позвала его на процедуру.

...Насыров шел из больницы и как-то неуверенно ставил ноги, словно и сам был больным. Нет, для него далеко не все прояснилось, и загадка все еще оставалась загадкой. Весь привычный мир как бы сдвинулся в пространстве и времени, все перемешалось, пошло вспять. Насыров вспомнил студенческие годы и своего однокурсника Алихана Рузыева. Они не были друзьями, даже так случилось, что за годы учебы их студенческие пути-дороги ни разу по серьезному поводу не пересекались, хотя Насыров и знал из рассказов ребят, что Рузыев — человек способный, но несчастный. Он потерял любимую девушку. Как потерял? Родители не посчитались с желанием влюбленных, выдали девушку замуж за другого человека, вот и все. Рузыев от горя впал в отчаяние, лишился покоя и рассудка. Он стал сторониться даже своих друзей. Часто его встречали на улицах старого города, возле мечетей, в общении с какими-то стариками, бродягами и базарными попрошайками. А потом... Потом он перестал выполнять учебные задания и решительно отказался от практики в школе. В руках у него чаще всего видели не учебники, а мусульманские книги. С увлечением он перечитывал книги древних поэтов Востока, воспевавших терпение и рабскую покорность исламу. И вот пришло время, о поведении студента Рузыева заговорили на комсомольском

собрании. Он не был комсомольцем, но не говорить о нем было уже нельзя. И не просто заговорили, а пригласили его самого на это собрание и спросили: с кем ты, Алихан Рузыев? Что происходит с тобой — объясни, пожалуйста. Он молчал, пожимал плечами, как бы говоря этим, что обсуждаемый вопрос не имеет под собой основания — просто он интересуется стариной и ничего в этом не видит плохого. На этом все и закончилось.

Началась война. Институт, готовивший учителей, превратился в казарму учебного полка. На одной из последних лекций профессора психологии Алихан Рузыев вдруг поднялся на кафедру и заорал таким голосом, что всех охватил ужас. «Докатился!.. Этого давно надо было ждать от него», — рассуждали потом студенты. Такого мнения был и Джура Насыров. Никто не удивился тому, что на следующий день Рузыев вообще не пришел в институт. Время было такое, что думать о судьбе свихнувшегося Рузыева было некому — студенты стали солдатами и пошли воевать...

Джура Насыров притворил за собой калитку и зашел в сад. Он чуть прихрамывал. Давно не напоминали о себе фронтовые раны, а сегодня почувствовал в ноге тяжесть, будто в ней все еще торчал осколок немецкой мины. Он сел под навес, где сушился урюк. Вокруг гудели шмели и осы. Под крышей ласково ворковали горлицы, выбирая место для нового гнезда.

«Робинзонада, кажется, кончилась. Жаль мальчишек, они честно продолжают верить, что их Душанба — жертва жестокой болезни, которая вот-вот отступит, и человек снова будет здоров. Они не виноваты. Да, крепости и те разрушаются... Что же делать? — уже не первый раз задает себе этот вопрос Насыров, а ответа все не находит. — Нельзя простить то, что не подлежит прощению. Прошло пять лет, как закончилась война, дезертиры амнистированы, других мелких преступников тоже простили, а этот все еще колобродит. Что за причина? Некуда идти? Не с кем посоветоваться? Нет друзей и близких? Кто же виноват в этом?»

Вопросы один труднее другого вставали перед Насыровым — как к ним подойти, с какой стороны, чтобы не разрушить основы складывающихся отношений между ними?

«А быть может, он обыкновенный трус? И умереть решил из трусости, и не умер — тоже из трусости?.. Его больного нашли дети, мои ученики, но почему при виде

детей он теряет голову и становится невменяемым? Он готовился стать учителем, но никого и ничему не научил — может, тут и ответ на вопрос... Страшная история: бытовые и религиозные предрассудки убили в человеке надежды... Прожить столько лет сумасшедшей жизнью, не ведая для чего и ради кого. А главное — поверить в то нелепое, чем ты стал, убедить других, чтобы и они поверили тебе».

Долго рассуждал Джура Насыров, спорил с невидимым противником и все для того, чтобы найти решение: как поступить?

На память снова пришли годы войны — все та же штрафная рота, будто он прошел с нею не два месяца, а все четыре года войны. Кого только не было среди штрафников! На многих из них где-то в железных сейфах хранились пухлые дела с приговорами военных трибуналов...

Роту ставили на направление главного удара. И вот там, в урагане огня, решался единственный вопрос: о доверии. Можно ли поверить человеку, совершившему тяжкий проступок? Поверить, что в этом урагане он останется человеком и честно пройдет свою жизнь? Находились такие, кто был против доверия. Политрук Насыров верил, и потому ему не приходилось оглядываться назад, когда он поднимал роту в атаку.

Пожалуй, бывший боевой политрук, а ныне учитель имеет право взять на себя ответственность за судьбу «проштрафившегося» человека, хотя бы ради того, чтобы не ожесточить сердца своих учеников, не убить в них благородные чувства доверия и сострадания к человеческому несчастью? Да и берется он за такое нелегкое дело не один — с ним его ученики, а это уже коллектив, общество.

И Насыров рискнул. Уж если Рузыев перестал бояться его, обнажил перед ним позор свой, раскрыл душевную рану — он и убежать не посмеет. Да и бежать ему, похоже, некуда: назад нет у него дороги.

ВИДЕНИЕ

Явилось оно ночью, когда Роман спал в той убогой развалюхе землянке, куда затащил его Саидка. Сперва он ощутил глухую дрожь земли под собой, будто на эту землю ворвался табун диких лошадей. Потом раздался пронзительный крик, страшный, ни на что не похожий,

как в неведомых джунглях, его подхватили дружные голоса и понеслось: о-ох-о-ох... о-о-ох... Роман открыл глаза. Была ночь, какая-то фиолетовая и дымная. Огромная кроваво-красная луна занимала почти полнеба. В редком, напряженно позванивающем на ветру камыше, что рос у подножья холма, паслись заседланные ишаки. Перед землянкой сидел Саидка. Он сидел точно так же, как и днем, обхватив руками коленки и чуть откинув назад голову. Казалось, что он забылся в этой языческой позе перед неведомыми божествами и окаменел. Возле Романа стояла банка с водой, накрытая куском лепешки, — это ужин. Но Роман, облизнув с губ сухую затвердевшую горечь, отвернулся от еды.

— Джар называется, — тихо произнес Саидка, когда Роман поднял голову. — Гляди. Понимай хорошенько.

Зрелище, увиденное Романом, поразило его. Десятка полтора косматых полуголых людей, сбившихся в тесный круг, бесновались и прыгали, исторгая при этом какой-то утробный, глухой вздох: о-ох-о-ох...

— Джар называется, — повторил Саидка, и на его лице, казавшемся зеленым, под цвет камыша, появилось нечто загадочное: вот что я знаю, а ты не знаешь. На бесовскую пляску космачей он глядел как на что-то привычное и переставшее быть для него интересным.

— Один час так будут, — продолжал он все тем же, нагонявшим страшную тоску голосом. — Устанут — падать будут. Потом дыню кушать станут. Чай пить. Потом спать.

Роман силился понять, что происходит. А быть может, совсем ничего не происходит? Может, все это только зрительный обман? Откуда в таком случае взялись эти люди и целый табун ишаков? Было трое: косматый силач, который днем сидел у шатра, Саидка и он — Роман. А теперь... Нет, похоже, что никакого зрительного обмана не происходит... Тогда где же?.. Неужели недалеко от его родного кишлака?.. Ашлак, конечно, не такой большой и шумный, как Фергана или Ташкент, — средний кишлак, но и в Ашлаке жизнь идет так же, как в городе: строятся новые дома, а скоро и новая школа будет. Во Дворце культуры каждый день бывает кино или выступают артисты. В Ашлаке есть консервный завод и сад-совхоз, в котором столько всяких машин, что, если их поставить одна за другой, — получится караван до самого Маргилана. Да что сад-совхоз — в Ашлаке есть все учреждения и конторы, какие должны быть в



районном центре. И своя милиция есть, и Роман знает всех милиционеров в лицо. Неужели и милиционеры не знают об этих?.. Могут не знать. Сюда ведь на мотоцикле не проскочишь — болото, люди называют его Ажал-балчик — страшное, поганое болото...

Среди полуголых прыгунов заметно выделялся высокий старик в широком, как парус, халате. Он то и дело взмахивал длинными рукавами и подавал отрывистые команды вроде: асса, асса, и тогда все кричали, не жалея глоток, хоть затыкай уши. Но вот старик раскинул руки, и круг раздался. На середину вышел тот самый полван с крутыми борцовскими плечами, которого Саидка назвал Гузарханом-хальфой. Сбросив с себя халат, он принялся прыгать. А остальные ухали как сычи. Гузархан-хальфа так выгибался, так дрыгал руками и ногами, точно хотел вывернуть себя наизнанку и показать все, что в нем было. Потом он принялся плавно кружиться, его густые волосы, разлетаясь, образовывали вокруг головы черный круг, похожий на колесо арбы. Он вдруг высоко подпрыгнул и кинулся грудью на землю, протяжно застонал, но тотчас вскочил и опять завертелся волчком. Затем снова начал подскакивать, вихляться, кусать себе руки и биться о землю. И наконец,

обессилев, окровавленный и потный, он упал, раскинув руки.

— Джар называется, — как попугай повторил Саидка заученную фразу.

— Джар, джар, а что оно обозначает такое? — враждебно и пугливо прошептал Роман. Не хотелось разговаривать с Саидкой, но неизвестность и страх рождали любопытство. И было бы совсем неразумно подчиниться чувству злобы и оттолкнуть от себя тайну, с которой напрашивался Саидка.

— Художественную самодеятельность немножко показывает, — лукавя, ответил Саидка. — Аллаху показывает. Хочет скорее в рай устроиться. Жить там хорошо хочет.

— Дураки! А ты почему не с ними? Почему так же не прыгаешь?

— Они святые, а я нет.

— Ты тоже святой. Предатель. Не думай, что твое предательство даром обойдется. За тебя никто не заступится, а за меня есть кому. Ты еще пожалеешь, оборванец... — Роман потряс кулаком.

— Зачем ругаешься? Я тебя ругаю?

— А ты ругай, думаешь, испугаюсь? Может, зла прибавится, и тогда сам я с тобой разделаюсь. Понял?

— Я трогал тебя? Зачем драться стал? Зачем душить стал? Зачем! — с горячностью наступал Саидка, чувствуя себя правым. Да, шел он своей дорогой, никого не задевал, не задирался. И если бы Ромка не кинулся ему на спину, он благополучно дошел бы до кишлака Павульган и доложил рябому старику, что задание его выполнил: все, что было уложено в мешок, донес в сохранности. Но теперь ему уже не надо докладывать — старик сам приехал сюда. Это он командует сейчас косматыми плясунами и заставляет их так убиваться.

— Не знаешь, что сказать? — не отступался Саидка.

— Отвяжись! Надоел как собака, — отмахнулся Роман, но уже без прежнего раздражения.

— Почему «отвяжись»? Зачем «отвяжись»? — Саидка оживился, он и не думал «отвязываться». Напротив, он больше не мог молчать и хотел сказать, все, что передумал за это время. — Сам себе плохо сделал. Сам себе предатель. Ты — предатель! — ткнул он пальцем в Романа.

«Вон ты как осмелел, паразит косматый, — подумал Роман, — ничего, я еще тебе припомню не только драку».

— Совсем не знаешь, как попал сюда, а ругаешься, кричишь. Почему так делаешь?

Роман и правда не знал, как он очутился здесь, у болота, в этом диком становище, но и Саидка... чего от него узнаешь, он только еще больше наврет.

— Ну скажи, придумай что-нибудь такое, заковыристое, врать ты умеешь.

— Не надо придумывать. Сам пришел, — сказал Саидка. — Гузархан-хальфа немножко душил тебя и сказал: «Все. Издох паршивый щенок». Бросил. Я тоже ушел. Чего сидеть? Сильно сердитый был на тебя: зачем нападение сделал? В шатер вернулся. Гляжу, ты тоже сюда идешь. Заплутал. Глупый совсем, чумной, туда-сюда шатаешься-идешь. Я скорее схватил тебя за руку, на бархан увел. Зачем Гузархану-хальфе тебя видеть? Совсем не надо. Я сам, один справлюсь. Гузархан-хальфа ничего не знает. Ходил тебя искать — не нашел. Наверно, хотел в землю закопать. Меня спрашивал: «Куда тот косоглазый шайтан девался?» Я сказал: «Не знаю, не видал». Он тоже сказал: «Э-э, шайтан-собака, далеко не уйдет. Здесь издыхать будет».

Роман лежал и не шевелился. Ему не хотелось глядеть на Саидку, но почему-то было не по себе и немного стыдно. А Саидка уже опять нахохлился, как сорочонок перед дождем, и уселся в привычной позе. Неужели все было так, как говорит Саидка, подумал Роман. Нет, сперва надо проверить, мало ли что он наболтает. Сам хочет со мной расправиться. Ну это еще посмотрим, кто кого...

— Гузархан! Эй, Гузархан, вставай! — старик тормошил за руку хальфу и слегка подпинывал его в бок остроносым ичигом. — Ты хорошо просил аллаха, он не забудет твоей молитвы. Вставай, пожалуйста, ты будешь очень близко от бога. Святым будешь!

Гузархан кое-как встал на четвереньки, поднялся, сделал несколько шагов и упал. Снова подняться ему не удалось, он встал на четвереньки и пополз. Саидка вдруг вцепился обеими руками в Романа и потащил его в угол. Кинул на него пыльную циновку.

— Не шевелись! Гузархан идет, — задыхаясь, прошипел Саидка. А сам свалился возле порога и притворился спящим. Роман окаменел от страха и, кажется, врос в землю. А когда Гузархан, отшвырнув со своего пути Саидку, вполз в землянку, Роману показалось, что стены ее обрушились и похоронили его. И только

неспокойное сердце где-то очень далеко, словно под прохладной тяжестью земли, еще тихо постукивало. Гузархан был совсем близко. От него несло потом и прелым тряпьем. Отдышавшись, он сел на корточки, нашарил рукой банку с водой и, кряхтя, стал пить. Напившись, принялся за лепешку. А когда жевать уже было нечего, выбрался из землянки и, охая, пополз снова к костру.

— Шакал, все скушал, — проворчал Саидка, усаживаясь на свое место. — Ой-ей, все сожрал... Знаешь, какой сильный Гузархан-хальфа? О-о, лошадь у себя на спине может держать. Подлезет ей под брюхо и поднимает. Подкову одной рукой ломает. Медную проволоку зубами кусает. Кушает, знаешь, сколько? О-о, целого барана может.

— Бессовестный, — чуть слышно прошептал Роман, все еще не преодолевший страха. — С такой силой ему бы... где-нибудь воевать. Мне бы такую силу!..

Фиолетовый дым из лощины унесло к болоту. Небо очистилось от густой огневой краски и посветлело. Луна поднялась над горами и стала меньше, зато свет ее сиял ярче. Косматые люди сидели тесным кружком у костра и тихо беседовали. Больше всех говорил старик. Роман, хотя и старательно прислушивался к голосу старика, но понять, о чем тот говорит, не мог. Сюда долетали лишь обрывки фраз.

— О чем болтают?

— Зикр-сухбат называется. Беседу про аллаха ведут. По-арабски болтает.

— Ты тоже таким станешь. Ишан бродячий.

— Неинтересно. Коран, знаешь, какой? Шестьсот страниц! Все надо наизусть учить. Другого ничего знать не надо, один Коран, как таблица умножения. Не хочу. Мальчишки в футбол играют, гуляют, а мне Коран — совсем неинтересно... Там отец мой, Муслим-дивона, сидит, — печально признал Саидка.

— Отец?!. Эхе, а зачем это носишь, если тебе неинтересно? — спросил Роман, приглядываясь к засаленному, на почерневшем гайтане, кожаному шестиугольнику, болтавшемуся на Саидкиной шее.

— Тумар*, — ответил Саидка и поскорее запрятал его под рубаху. — Молитва в нем есть, чтобы болезнь не приставала, чтобы счастье всю жизнь было. Старик дал, Мадарип-ишан... Когда давал, говорил: «Всегда здесь, на шее, держи, это — счастье. И никому не давай. Отдашь —

никакого счастья тебе не будет. Всегда печаль и горе будет. Тяжелая болезнь будет».

— Счастье никто за так не отдает, и в лавке его не продают. За счастье люди дерутся, как на войне.

— То другое счастье.

— Счастье всегда одно бывает.

— Э, ты не поймешь такое. Только один Мадарип-ишан хорошо понимает.

Они замолчали. Мадарип-ишан?.. Роман вспомнил, что однажды он уже где-то слышал это имя или похожее на него, но где? Сейчас он думал о непонятном Саидкином счастье, Саидку кто-то хитро обдурил: нет и никогда не было у него счастья. Теперь Роману начинало казаться, что Саидка в общем-то дикобраз порядочный, но не такой уж сильный предатель: по-глупому запутался с космагыми... А порвать с ними — воли у него такой нет: боится бродяг, рябого ишана боится, неумного отца своего — тоже не бросишь. И уговорить, чтобы он перестал бродяжничать, тоже не может. Для такого серьезного дела у человека должен быть характер, а у Саидки — кислое молоко. И помочь некому — в школе не учится, книжек не читает, в пионерах не состоит. Кто поможет? Неважнецкая житуха у Саидки, думал Роман. А когда вспомнил о себе — ему сделалось так холодно, что зубы непослушно заклацали, выбивая чечетку.

— Что они станут делать со мной?

— Не знаю. Долго нельзя тут сидеть — найдут... Ходить можешь? — в Саидкиных глазах блеснула решимость.

— Болит, — сморщился Роман. — Вот здесь болит, — с неосознанной боязнью он ощупывал припухшую коленку и морщился. — Крови не видно, а больно. Наверно, кость переломил, дурила. Он вон какой...

— Скажи, Ромка, зачем Иргаш Саиджаном назвал меня?

— Когда?

— А-а, тебя не было. Раньше — мусорщик, бродяга, теперь — Саиджан. Первый раз назвал так...

— Иргаш — он так просто ничего не делает. Сперва хорошенько думает. Генерал...

Бродяги опять зашумели, о чем-то заспорили. Но теперь и Роман понимал, потому что разговор шел не о боге. Они спорили о деньгах, о каких-то халатах, о подаяниях и о чем-то еще, что составляло их убогую жизнь. Мадарип-ишан ни с того, ни с сего принялся

ругать Гузархана — святого человека, который ближе всех стоит к аллаху. Рассердившийся ишан называл его ишаком и обзывал всякими грязными словами. Оказывается, только он, бестолковый и глупый Гузархан, повинен в том, что от них отбился помешанный Алихан-хальфа. «Где он?» — кричал Мадарип-ишан. Гузархан молчал. Но когда Мадарип-ишан очень осердился и подсунул под нос Гузархана кулак, тот зарычал, помотал космами и сказал, что он очень жалеет, что не зарезал сбесившегося пса Алихана. После этого хором прочитали короткую молитву. Замолчали. Мадарип-ишан сказал: «Аминь» — и провел по лицу руками. Больше Роман ничего не слышал. Он уснул, измученный голодом, страхом и неизвестностью. Возле него, свернувшись калачиком, примостился Саидка. Он тоже уснул, тонко посвистывая вздернутым носом. Враги лежали вместе, под одним пропотелым и грязным Саидкиным халатом. Луна ушла с порога землянки, теперь ее свет не проникал в этот уголок, на время забытый людьми и аллахом.

ЕЩЕ ОДНО ОТКРЫТИЕ

Его сделал Роман в эту же ночь. Он проснулся от голода. В пустом животе сосало и урчало, будто там поселился сердитый зверек. Он уже не раз пожалел, что оттолкнул от себя кусок лепешки и воду, что приносил Саидка. А тут еще петух орал каждый час, да так звонко и даже капризно, точно взялся досадить кому-то. Роман заметил этого петуха еще тогда, когда обозревал сборище странников. Он почему-то смиренно пристроился на коленях у щупленького старика, который не прыгал вместе со всеми, а сидел в сторонке, поглядывал да гладил золотистую петушиную шею. Рауф-хальфа — так назвал этого чудного старикашку Саидка. Теперь же — ночью — петух восседал на вершине шатра, под которым спал его хозяин, и горланил так, что не только на болоте и в тугаях — в ближних кишлаках суеверные люди, наверно, не без страха прислушивались к его крику.

«Чего старик таскается с таким горлопаном, — думал Роман. — Может, плов из него станут варить?» И так защемило внутри у Романа, что потекли слезы из глаз. Впрочем, слезы текли не только от голода — тут все гораздо сложнее, и кое-что Роман уже либо понял, либо начинал понимать. «Нехорошо получается, — осуждаю-

ще размышлял он. — Зачем погорячился? Ну пацаны, наверно, забыли и простили: не умеют они долго обижаться. Учителя не послушал, Джуру Насыровича. Слышишь, бездельник? Тебе говорят, — постучал он себе по лбу. — В беду влопался — как теперь выбираться станешь? На Саидку наскочил... Какое к нему у тебя дело приспичило? Его, Саидку-то, оказывается, можно было поманить пальцем, назвать Саиджаном, и он бы пошел сам куда хочешь. А мы дразнили его, а иногда... Эх, не видать тебе, Ромка, Народно-Демократической Кореи, как своих глупых ушей... Когда в Испании гражданская война получилась — добровольцев со всего мира принимали, Джура Насырович говорил, что и наших там было порядком, и фашистов они колошматили будь здоров... А меня не берут. Почему?.. Вот волосатые оторвут тебе голову и будешь знать почему. Какой ты дурак, Ромка. Ох, дурной...»

Потом он услыхал чей-то шепот, насторожился. Возле костра сидели двое: Мадарип-ишан и Гузархан-хальфа. Костер догорал, дым от него светлой голубой прядью полз сквозь редкую траву и кусты к болоту, заволакивая его пушистым облаком. Ишан сердито ворчал, стараясь внушить неразговорчивому силачу, что он глупый, совсем не разбирается в людях. А на что может толкнуть его неумная голова — даже предугадать невозможно.

— Зачем напал на мальчишку-кяфира? — хрипел ишан. — Умный человек никогда не будет поступать так опрометчиво.

— Х-хе, он стал бить вашего посланца, ишан-ака*, — оправдывался Гузархан. — Если бы я не заступился, он бы задушил его, как котенка.

— Пусть, если он, дурень, попал в руки врага и не может показать ему ни силы, ни ловкости. Пусть душит! А ты ввязался. Подрались бы сопляки и разошлись. А что теперь?

— Совсем плохо, ишан-ака. На том месте не нашел я его. Куда-то исчез, шайтан.

— Вот что ты натворил! Завтра этот щенок приведет милицию, ищеек и они переловят нас, как глупых перепелок. Что молчишь?

— Простите, ишан-ака.

— Часто я прощаю тебя.

Обгорелой палкой ишан пошвырял в костре, затем добыл из-за пазухи табакерку. На болоте вскрикнула выпь, неуверенно ухнула, словно пробовала голос, и

замолчала. Ей откликнулся трескучий голосок чирковой утки. Тревожно гаркнув, слетел петух с шатра и, прижав к земле голову, юркнул под спасительный полог.

— Ф-фу ты, нечистая сила! — вздрогнул ишан.

Петух испугался большой совы, низко пролетевшей над шатром. Мадарип-ишан вздохнул и толкнул в бок задремавшего Гузархана.

— А где тот сумасшедший? Почему я не вижу на твоем лице беспокойства?

— Не знаю, ишан-ака. Он совсем ничего не говорил. И глаза были тусклые, как у мертвеца. Он делал последние вздохи. И потом... Может, волки сожрали. От него пахло нехорошо, а волк и шакал ищут такой запах...

Роман напружинился, вытянул шею. Он догадывался, о ком шел разговор: о Душанбе! Значит, все, что рассказывал дедушка Тургунбай, правда — Душанба из одной с ними шайки. Такой же чокнутый. Но чем не угодил он бродягам? Может, сам ушел, понял обман и — задний ход. Роман вспомнил! Дедушка Тургунбай рассказывал про какого-то ишана. Только вот одна неточность есть: дедушка Тургунбай говорил, что того ишана расстреляли, как врага, а этот живой. Чудеса какие-то... Роман весь, кажется, превратился в слух.

— Проверить надо, какие волки съели его, — вздохнул ишан. — Ох-хо, аллах милостивый, услышь нашу молитву, отведи горе от рабов твоих и моих братьев. Мальчишку разыскать!

— Не знаю, как это сделать, ишан-ака.

— Ты моего совета не спрашивал, когда набрасывался на него. Ничего тебе не скажу. Думай сам.

— Что можно придумать — не знаю. Ну а потом что?

— И здесь ты ждешь моих указаний!

— Поганую башку — в мешок?

Мадарип-ишан не ответил. Но Роман почувствовал, как все в нем вдруг опустилось, обмякло и так сделалось жарко, что он хватал раскрытым ртом воздух, но его будто не было — вокруг стояла вонь от прелого камыша и мышиных гнезд. Эти гадкие мыши, казалось ему, наполняли землянку возней и отвратительным писком. Дрожа всем телом, он прижался к Саидке.

— Про тебя говорят, — шепнул Саидка.

Роман ничего не сказал. Он только удивился тому, что и Саидка не спит и старается услышать и понять, о чем говорят бродяги. Значит, Саидку тоже что-то тревожит...

ДУШАНБА НАБИРАЕТ СИЛУ

Это теперь замечал не только доктор Мирзакул, но и все, кто работал в больнице, и те, кто встречался с ним в дни приема посетителей. На глазах менялся. Плечи раздались вширь и выпрямились, грудь подалась вперед, а спина, походившая на сучковатую доску, становилась пружинисто-упругой. И лицо изменилось: оно стало живым и свежим, с вдумчивыми, хотя еще и не в полной мере успокоившимися глазами.

Встречи Душанбы с учителем Насыровым теперь уже не были так холодны. Тот почти враждебный разговор, который, по замыслу Душанбы, должен был оказаться последним, положил начало примирению. Они как будто бы поняли, что упреки не принесут ничего хорошего, не говоря уже о том, что таким способом они не могут выяснить и своих отношений друг к другу. Теперь они встречались как друзья: не спорили, не горячились, а мирно беседовали и даже вспоминали прошлое. Душанба с жадностью прочитывал газеты, которые ему каждый день приносили ребята. Его интересовало все. Но главным образом, конечно, эта его новая жизнь: как она поступит с ним? Какие испытания она еще готовит ему? Мысленно он был готов, пожалуй, к самому худшему. Но... быть может, все ж таки лучше спросить?..

Пришел Насыров. С ним Иргаш и Федя. Душанба в общем-то ладил с ребятами, но серьезные разговоры с ними пока не получались, и в этом скорее всего был виноват он сам.

Когда пришли гости, Душанба сидел в беседке, увитой виноградными лозами, и читал книгу.

— Здравствуйте, Алихан-ака, как ваше здоровье? Как самочувствие? — приветствовал его Насыров. Душанба вышел навстречу учителю и протянул руки, как по обычаю встречают самых желанных гостей.

— Спасибо, Джура-ака, спасибо, — отвечал он, застенчиво улыбаясь. — Простите меня, пожалуйста: я причинил вам немало неприятностей и забот.

— Что с вами, Алихан-ака? Я спрашиваю о здоровье, а вы...

— Мне хорошо, я всем доволен. Как вы здоровы?

— Спасибо. Что читаете? — заглянул в книжку учитель. — О-о!

— Это они, — показал на ребят Душанба. — Каждый раз приносят столько всякого чтения: газеты, журналы,

книги, — тут он чуть-чуть помолчал и прищурился, — лучше, пожалуй, и желать ничего не надо. Психологи.

— Ну-ну, не перехвалите.

Они присели на скамейку, ребята устроились поодаль и делали вид, что разговор взрослых их не касается. Правда, и разговор вначале шел самый обычный: о погоде, о воде, о хлопке, в предстоящей уборке которого будут принимать участие и школьники. Насыров поглядывал на Душанбу и, кажется, был доволен тем, что тот заметно поправляется.

— Что вам говорит доктор? — спросил учитель.

— Ничего не говорит. Мне кажется, он до сих пор считает меня психом, а от психа, как известно, можно ожидать всего, что угодно. Может, вам лучше известно, что думает доктор?

Такого вопроса учитель не ожидал и даже немного нахмурился.

— Нет, это мне не известно. Ну а вы-то как себя чувствуете?

— Хорошо.

Насыров поглядел на присмиревших ребят и понял, что они ждут от разговора этих взрослых и серьезных людей чего-то более важного.

— Хочу предложить вам работу, Алихан-ака. Как вы?..

— Работу?! — Душанба даже переменился в лице. «Работа» — суть этого слова всегда была чужда образу его жизни, его наклонностям и привычкам. Слово это пугало его, так же, как пугают слова: милиция, суд, тюрьма. Но сейчас оно прозвучало совсем не так — обычно и просто, как звучат слова: хлеб, вода, воздух, жизнь. Оказывается, в самих словах ничего не содержится такого, чего бы стоило бояться, надо только прислушаться к ним открытым для доброго дела сердцем.

— Работу?.. А разве может найтись для меня работа, Джура-ака? — страшась неизвестности, спросил Душанба.

— Конечно. Есть у нас такая работа для вас — в школьном саду. Вот и ребята — они согласны поработать с вами. Сейчас они одни трудятся.

— Право, не знаю, что сказать вам, — в невольном смущении продолжал Душанба. — Мне бы хотелось другую... именно ра-бо-ту, с кетменем в руках.

— Одобряю ваше желание. В школьном саду именно такая работа и будет, с кетменем.

— Там у нас есть еще лопаты и грабли, — добавил Федя. — А осенью трактор обещают дать.

— Трактор?!

— Да, да, — подтвердил Джура Насырович. — Нам помогают шефы. Совхоз. Сад для школы, для всех нас очень дорог — мы сажали его, мы и работаем в нем.

Джура Насырович внимательно смотрел на Душанбу, стараясь подметить тот момент в его настроении, когда можно будет сказать самое главное. И этот момент, кажется, наступил.

— Не хочу скрывать от вас, Алихан-ака, и своих интересов: собираюсь отдохнуть и подлечить старые раны — они начинают беспокоить меня, — признался он. — А вы пока присмотрите за нашим садом. Согласны?

— Неужели это возможно?! — испуганно воскликнул Душанба. — Поручить мне такое дело... А если?..

— Мы — люди, Алихан-ака. А люди не могут жить без доверия, им просто нельзя так жить. Вот мы и пришли, чтобы сказать: мы доверяем вам. Поверьте же и вы нам. Договорились?..

Душанба стоял возле беседки взволнованный и растерянный. Взволнованный не горем и не страхом — доверием, неожиданно подаренным людьми, которых он еще вчера боялся и ненавидел.

ЛЮБИМЕЦ АЛЛАХА

Встревоженный услышанным разговором, Роман уже не мог заснуть. Он лежал перед обвалившейся стеной, которая укрывала его с внешней стороны землянки и во все глаза следил за тем, как просыпались отшельники. Один за другим они выползали из шатра, грелись на солнце, почесывались. Обогревшись и стряхнув с себя сонную лень, в каком-то злобном и мрачном молчании принимались пить кок-чай. Потом так же молча, по одному расходились, как расходятся на воровство. У костра остался Рауф-хальфа. Он кормил петуха, подставляя ему под клюв черную, сложенную ковшом ладонь. Петух вскрикивал и тряс головой, будто благодарил доброго хозяина.

Последним из шатра вышел Мадарип-ишан — важный, с надменным непроницаемым лицом. Роман приподнялся на локтях, чтобы получше разглядеть его. «Вот он какой, царь волосатых бродяг, а у самого ни волос, ни короны — хитрый, не хочет людей смешить».



Мадарип-ишан расправил плечи, поднял голову, точно собирался начать утреннюю гимнастику. Умылся из того же кумгана, в котором кипятили чай. Расстелил халат и встал на молитву. Роману хорошо видно лицо ишана. Сперва оно было строгим, нахмуренным, будто старый духовник, недовольный чем-то, сердито пробирал самого аллаха. Потом оно расплылось в рабском умилении, а губы ишана ужались в такой блаженной улыбке, словно он только что отведал жирного плова. Когда Мадарип-ишану наскучило улыбаться, он, горько сморщившись, начал плакать настоящими слезами, которые тихо ползли по корявым щекам. Это уже совсем удивило Романа: как можно плакать, когда тебя никто не обижает?

Кончив молитву, ишан крикнул Гузархана и велел ему оседлать ишака.

— А ты чего сидишь, бездельник? — прикрикнул он на Рауфа-хальфу. — Чего дожидаешься?

— Сейчас я, ишан-ака, сейчас уйду. Напитаю мою птицу и уйду.

— Да будет воля аллаха, он и напитает свою птицу.

— Так, ишан-ака, — безропотно согласился Рауф-хальфа. — Об этом и я говорю всем правоверным.

Мадарип-ишан, тяжко вздыхая, забрался на ишака и

тронулся в путь. Петух захлопал крыльями и, как бы радуясь той счастливой минуте, что они остались одни, заорал задиристо и звонко. Лицо старого Руафа осияла улыбка, но он погрозил петуху скрюченным пальцем.

— Вай-вай, зачем так кричишь, мошенник?

— Наелся и кричит. Посмотрите, какой набил зоб! — сказал Саидка, подсаживаясь к Рауфу.

— А-а, это ты звереныш!

— Рауф-ата*, зачем вы всегда петуха таскаете? Ишан-ака говорит: петух не ваш, аллах хозяин ему, а вы таскаете его?

— Именно потому, сын мой, я и не расстаюсь с птицей, что она в таком уважении у аллаха пребывает. Может, всевышний заметит и пошлет за мой труд немного счастья и мне, грешному, — Рауф-хальфа ухмыльнулся беззубым стариковским ртом и сощурил глаза.

Саидкины расспросы о петухе раздражали Романа — он с нетерпением, преодолевая желудочные колики, ждал еды от Саидки. «Разболтался, нашел время. Ну чего тут интересного?..»

А Рауф-хальфа будто обрадовался случаю поговорить, придерживал Саидку за рукав и тянул к себе, потому что Саидка все-таки стремился уйти от него.

— Когда пророк Мухаммед отправился на седьмое небо, — продолжал свой рассказ Рауф-хальфа, — для того чтобы поклониться аллаху, погостить у него, поговорить о том о сем, ну и, конечно, получить святое благословение, на первом небе ему повстречалось скопище всяких тварей: звери, птицы, ползучие гады, насекомые. Все они повернули свои недостойные головы, чтобы поглядеть на знаменитого, любимого аллахом пророка. И среди них был белый петух. Он был так велик, что золотой гребень его касался второго неба. А расстояние между первым и вторым небом, знаешь какое? Пятьсот лет пути! И то, если твой ишак не будет ни пить, ни есть, ни уставать, а издохнуть — тут и разговору не должно быть: не положено ему издыхать. Вот как! Оказывается, аллах приблизил к себе и полюбил эту птицу за ее пение: оно ласкает слух всевышнего. Все земные твари пробуждаются от петушиного пения...

Саидка уже позабыл о деле и слушал разинув рот. Слушал как увлекательную сказку. Дома никто не рассказывал ему сказок. И то, что сейчас открывал перед ним старый хальфа, ему казалось достойным внимания.

— А зачем на ишаке, Рауф-ата? — усомнился Саидка. — На машине или на самолете — скорее. На ИЛ-двенадцатом, какой в Ташкент из Москвы прилетает.

— Э-э, что ты говоришь?! — подняв вверх руку, возразил Рауф. — Не было тогда самолетов! Машин тоже, наверное, не было. Самолет... да кто же его в рай пустит?.. И делать там ему совсем нечего... Запомни, сын мой, есть три голоса на свете, — пророчески изрекал Рауф-хальфа, покачивая головою, — к которым аллах всегда прислушивается: голос человека, читающего Коран, голос молящегося грешника, который просит прощения грехов своих, и голос петуха, который воспевает славу всевышнему! Понял теперь, почему я всегда держу при себе умную птицу? Кто скажет мне о последних днях грешного мира?

— Кто? Конечно, радио.

— Пе-ту-ух! Аллах одарил его не только сладкозвучным голосом — мудростью и предвидением. Эта крылатая бестия, Саиджан, все понимает. А когда приблизится конец, аллах повелит своему любимцу опустить крылья, склонить гордую голову и не радовать больше грешников своими райскими песнопениями. С этого часа все петухи на земле перестанут петь. Умолкнет и мой мошенник. Конечно, ему грустно будет без песни, но что поделаешь? На все воля всевышнего, сын мой.

— Саидка, не верь ему! — закричал Роман истеричным голосом и кинулся грудью на кучу ссохшейся глины у порога землянки. — Врет он, волосатый черт! Все врет. И неба второго нет! И петуха там нет! И пророка... Враки! Брехня это, Саидка!..

Рауф-хальфа схватил петуха и пустился бежать. Саидка повис на его лохмотьях и визгливо закричал:

— Куда вы, ата Рауф! Не убегайте, я расскажу!..

От испуга и страшного потрясения глаза Саидки округлились, как у совенка. Он знал, что вот-вот придет Гузархан, который ушел искать ишака, и тогда Ромка будет схвачен, и что с ним случится — даже представить невозможно.

— Ата Рауф, ата Рауф!.. Все объясню вам, не убегайте. Не надо!.. — повторял он в каком-то лихорадочном приступе и так упирался в землю ногами, что лохмотья хальфы с треском расползались. А Ромка, точно потерявший рассудок, орал:

— Нет никакого седьмого неба. Вселенная там! Космос!..

— Перестань, Ромка! Зачем кричишь? — чуть не плакал Саидка.

Рауф-хальфа, точно загнанный зверь, ворвался в шатер и забился в угол, в кучу тряпья.

— Он заблудился, Рауф-ата. Потерял дорогу, — захлебываясь, объяснял Саидка, вставая перед хальфой на колени. — Ногу... вы слышите меня: ногу немножко повредил... Это — корейчонок Ромка из нашего кишлака. Я подобрал его в тугаях, спрятал... Вы, Рауф-ата, не скажете никому? Дайте мне слово. Честное слово...

Старик немного успокоился, но в глазах его все не гасла тревога. Он, кажется, боялся не того, что случилось, что он увидел своими глазами, а Саидкиных слов. Саидка же не мог остановиться. Он никогда не говорил с таким волнением и так много и несвязно.

— Я знаю вас, Рауф-ата, вы не скажете Мадарип-ишану. Вы хороший, я люблю вас и всегда-всегда буду слушаться только вас. Честное слово!.. И Гузархану-хальфе ничего не скажете. Никому! Маленьких нельзя обижать, правильно ведь я говорю? Кто обижает маленьких, тех аллах наказывает. Правильно, да? А Ромка — он хороший, только немного дурной. Потом я выгоню его... Он уйдет. Не скажете?.. Вы очень хороший, Рауф-ата...

Старик закрыл глаза и вздохнул.

— Аллах вам судья, — прошептал он. — Аллах все видит и все знает, а я только раб его: я ничего не знаю, сын мой, и ничего не видел... А петух — э-э, он совсем глупый. Я не сумел научить его разговаривать человеческим голосом. Он умеет кричать и драться, а рассказывать — это делаю я за него, сынок.

В глазах старика появилась тихая и добрая улыбка. Он тряхнул головой, словно поставил точку сказанному, и поднялся. А совсем измученный Саидка повалился на землю и долго лежал, бездумно разглядывая дырявый полог, — многочисленные дыры в нем пронзали острые, как золоченые иглы, лучи солнца.

ЗНАКОМСТВО С ДРУГИМИ

Саидка робко подсел к Роману и, заглянув ему в глаза, спросил:

— Зачем кричал?

— Пусть не врет. А ты, дурак, слушаешь.

— Каждый может говорить, что хочет. Пускай говорит. Ему хорошо бывает, когда его слушают, а мне что?..

— Тебе, конечно, бари-бир, — раздраженно заметил Роман. — Говорить надо о деле, а не о глупостях. Ты веришь в то, что он молол?

Саидку так прямо еще никто не спрашивал, и потому он не знал, как отвечать на такие вопросы. Помешкав немного, поежился и сказал:

— Болтать не станет. Рауф-ата вреда никому не делает — побирушка. Чудак немножко. Если бы Гузархан — тогда плохо.

— Ну и пусть плохо! — вспылил Роман, а потом заплакал. — Пусть!.. Никого я не боюсь. И твоих волосатых тоже. Дай мне ножик, и я распорю брюхо тому силачу Гузархану!

Саидка схватил Романа за плечи и, вытаращив глаза, зашипел на него:

— Тише, совсем глупый болван! Сейчас Гузархан придет. Вон — идет!..

Погрозив Ромке кулаком, Саидка выскочил из землянки.

Отпустив ишака, Гузархан-хальфа подошел к потухшему костру. Постоял, лениво почесываясь. Подошел к Саидке. который, как ни в чем не бывало, сидел у распахнутой полы шатра и обстругивал ножом палку. Что-то сказал ему, затем, снисходительно посмеиваясь, рывком надвинул на Саидкины глаза дервишскую папаху и ушел.

— Вставай, Ромка, — позвал Саидка. — Совсем с голоду помирать будешь. Кушать немножко будем.

Он принес почти целую лепешку и все ту же ржавую жестяную банку еще горячего чая. На лист лопуха выложил из кармана пригоршню лакомства: зеленые плоды урюка и щепоть соли.

Роман накинулся на еду: отрывая куски лепешки, он запихивал их в рот, а из глаз его текли слезы не то от голода, не то от радости, что он наконец опять держит в руках хлеб. Саидка ел урюк: макал урючину в соль и наслаждался кисло-соленой зеленью; довольная и, пожалуй, плутоватая улыбка почему-то не сходила с его лица.

— Гузархан на ключ пошел, — сказал он. — Там холодок. Немножко алыча есть, урюк тоже есть... Э-э, спать целый день будет. Мадарип-ишан уехал. Хорошо, ругать никто не будет. Нам тоже хорошо будет, да?

— Тебе, что ли? — огрызнулся Роман.

— Нет. Тебе тоже.

— У меня здесь родных нет, знакомых тоже. Мне тогда хорошо будет, когда я удеру отсюда.

— Нельзя, — затряс головой Саидка. — Совсем нельзя. Гузаркан все видит. Тебя ищет. Каждый день будет искать. Слыхал, что ишан сказал? Знаешь, что такое: башка в мешок?

— Не знаю.

— Убить.

Из Ромкиной руки выпала и покатилась по земле незрелая с чуть порозовевшим бочком урючина. Глаза его часто заморгали.

— А кто позволит им? — чуть слышно прошептал он.

— Смешной ты, Ромка, — нахмурился Саидка. — Очень даже глупый. Кого спрашивать будут, тебя? Они — «волосатые ишаны». Святые. Саттар-хальфа у них был. Немножко горбатый. Кончал недавно. Вон его могила, — указал Саидка на унылый холм земли, не успевший еще зарасти травой. — Саттар-басмач! Все умел: зарезать, избить кого хочешь тоже умел. Дом поджечь. Боялись его. Женщины тоже боялись, которые верующие сильно. Он керосин им давал, спички давал, делал фатыху* и говорил «аминь»...

Роман слышал, что когда-то случалось такое: самосжигались какие-то несчастные женщины, кем-то обманутые или оскорбленные. Об этом рассказывали старухи, которые и поныне еще прячут лицо от солнца и людских глаз. Но тогда он ничего не знал о «волосатых». Даже не предполагал, что существуют такие непонятные и дикие люди.

— А твой отец... Ненормальный, да? — спросил Роман.

— Не знаю. Совсем не знаю, — покачал головой Саидка. — Таких жалеют больше. Старые люди жалеют, назир* подают им.

— Зачем так?

— Бестолковый ты, Ромка. Побирушка всегда сытый, его уважают, — продолжал Саидка как о чем-то самом обыденном. Почему он разговорился о вещах, которые еще вчера составляли для него смертельную тайну, он бы и сам не смог объяснить. Просто было приятно удивлять этими тайнами ничего не знающего о «волосатых» Ромку. А быть может, потому, что его давно уже тянуло к мальчишкам, но все складывалось как-то нелепо и

трудно, а порой и жестоко. И все-таки оставаться вечным бродягой было невыносимо, когда его сверстники жили другой, нормальной жизнью.

— Война была — их не брали — ненормальные. На войне убивают. Мой отец тоже не захотел на войну. Дивоной стал. А дивону кто убивать станет? Что есть у дивоны? Маленькие, которые кусаются... — Саидка засмеялся, обнажив розовые, никогда не чищенные мальчишеские зубы. — Никому дивона не нужен. А Гузархан-хальфа — о-о, какое нехорошее делал. Сам говорил мне: учись, пока я не помер. Хвалился. Однажды, когда война была, его на базаре солдаты поймали. Привели в военкомат, сказали начальнику: «Вот какого здорового привели, один сто фрицев убьет. Сила!» А он стал прыгать. Джар в военкомате устроил. Доктор такой хитрый, говорит: «Э-э, мы его давно знаем. Притворяется. Отправляйте на передовую. Пускай фашистам немножко такой самодеятельность показывает». Народу там шибко много. Отправка на фронт идет. Гузархана тоже в строй поставили. Ничего, что оборванец и грязный, как чушка. Сейчас, говорят, в баню поведем, купать немножко будем, волосы немножко обстрижем, солдатскую одежу одеваем. Гузархан, конечно, о другом думает — зачем ему на войну? Спрашивает командира: «Можно мне, пожалуйста, туда сходить... Живот шибко болит, курсак* совсем пропадает. Терпеть невозможно совсем...» Начальник, конечно, говорит: «Иди!» Гузархан подхватил так халат и бегом...

— Удрал?

— Конечно.

— Предатель! — с возмущением сказал Роман. — Его надо было расстрелять из пулемета. Дезертир!

Саидка умолк. Глядел он в пустоту и о чем-то думал, напряженно шевеля бровями. «Не похож он ни на Генерала, ни на Федяку Сергача, — подумал Роман. — Мальчишки не знают столько всего нехорошего и тайного. Зато он, наверно, совсем не знает того, что знаем мы: футбол, игры... И глаза у Саидки пугливые».

— Эх, бари-бир, — вздохнул Саидка. — Чего печальный такой? Тебе не надо бояться, Ромка. Гузархан, конечно, хитрый, нехороший человек, и я тоже немножко хитрый бываю.

— Помочь хочешь мне? Выручить? — спросил Роман.

— Ага...

МАДАРИП-ИШАН

Тяжелый, как полный бурдюк густой болотной воды, сидел он на сером ишачке и ехал вдоль заросшего камышом арыка. Ишачок непрытко семенил тонкими подрагивающими от напряжения ножками. Казалось, что Мадарип-ишан запихнул его себе между ног, точно плюшевую игрушку, и сидел на ней, блаженствуя, отдыхая. Воздух полнился томительно-сладким запахом джиды, росшей по обочинам арыка. В кустах, свистя и попискивая, шныряли птицы. Мадарип-ишан, свесив на грудь голову, сердито думал. В это утро ему все было не по душе. С некоторых пор он замечал, что люди раздражают его. Даже самые близкие и преданные вызывают иногда в нем ожесточение и глухую тоску. А все оттого, что не стало в них прежнего усердия к молитве, честности в дележе подаяния — так и норовит каждый утаить от него хоть малую толику. Много раз он просил аллаха дать этим людям — его хальфам и мюридам — веру и благочестие, но молитвы не приносили облегчения. Его верные хальфы либо умерли, либо состарились и притупились рассудком. А молодые... В них нет твердости духа. Они всюду попадают в ловушки, расставленные шайтаном. А с тех пор как закончилась война и объявлена амнистия преступникам, они просто покинули Мадарип-ишана, не сказав ему ни прощай, ни спасибо. Трус всегда остается трусом и негодяем, думал старый ишан. И мюриды пошли не те — подаст лепешку и считает, что он откупился от самой смерти. Все чаще и чаще начал задумываться Мадарип-ишан над смыслом жизни. Даже ночи не приносили ему покоя. Сквозь тревожную дремоту он постоянно слышал чьи-то уверенные шаги. И чудилось ему всегда что-нибудь нелепое. Да и как не чудиться? Он, прямой потомок кокандского Худоярхана, живет в обличии жалкого нищего, и нет конца его унижению.

— Эх-хе, так уж, видно, аллаху было угодно, — шепчет Мадарип-ишан, подгоняя усталого ишака. — Аллаху не нужна была моя смерть. Он восхотел, чтобы я остался на земле его слугой и проповедником.

Пред усталым взором ишана текла его жизнь. Он вспомнил, как ждал своего конца: сидел в одиночке и молился. Около тридцати лет прошло с того дня, но он ничего не забыл. Как сейчас слышит скользящий лязг дверного засова. В камеру входит милиционер, лицо его прикрыто козырьком фуражки, повелительным кивком

головы он показывает на дверь, к выходу. Значит, все кончено... Но почему-то он оказался не на краю готовой могилы, а в глухом темном саду. Чей был сад — он не знает. И кто тот человек, что привел его сюда, — тоже не знает. В его памяти осталось лишь призрачное лицо милиционера, на мгновение освещенное камерной коптилкой. А в саду была ненастная ночь: шумел ветер, хлестал дождь. Он стоял и, нервно подрагивая, творил молитву, ждал выстрела и... не дождался. Оглянулся — возле него никого не было, у его ног лежал хурджум и калоши. Он сунул в калоши мокрые озябшие ноги, перекинул через плечо хурджум и пошел. С этой минуты Ариф-ишан стал Мадарип-ишаном не только для людей, ничего не знавших о нем, но и для близких, и для самого себя. Так началась его вторая жизнь.

В безлюдной Аванской степи на гиблом болоте с названием Ажал-балчик Мадарип-ишан нашел сухой островок, а на нем — волчье логово, разрыл его руками, углубил. Оно стало его домом. Вскоре сюда стали сбегаться его мюриды и хальфы. Разбитые банды защитников ислама бежали за кордон, и теперь некого было благословлять на джихад*. В кишлаки пришла другая жизнь: создавались колхозы, декхане научились управлять машинами. Мадарип-ишан с проницательностью пророка понял: этот поток, ворвавшийся в беспросветную жизнь кишлаков, разрушит все старое, а заодно — веру в аллаха. И Мадарип-ишан опять провозгласил джихад. Теперь его хальфы, прикрываясь пыльными халатами странника, бродили по кишлакам и призывали к новой войне; где тайно и тихо, а где в страстных беседах и во время жарких молитв. Они говорили, что правоверному аллах не повелел вступать в колхозы и потому агитаторов, призывающих идти в колхоз, надо считать посланниками самого шайтана. Убивать их, пока есть сила в руках, как поганых псов, везде и всюду...

Один за другим падали от вражеских пуль вожаки кишлачной бедноты, а «волосатые» оставались в тени. Не верилось, что безумные, обросшие диким волосом бродяги способны на что-то еще, кроме попрошайничества. Простые верующие чаще всего относились к ним с предубеждением. Даже не очень разборчивые служители мечетей и те презирали их, считали, что они служат неверным. «Волосатым» не нужно ни мечетей, ни благолепия службы, ни духовного сана — у них есть свой пир* — наместник пророка в Ферганской долине. Он их

табиб и провидец, заклинатель зла и предсказатель судьбы. Ему они и поклонялись.

Однажды в Коканде, куда Мадарип-ишан приехал к своим мюридам, он случайно попал в облаву. Его привели в милицию как беспаспортного бродягу, стали допрашивать. Он прикинулся душевнобольным. Его поместили в сумасшедший дом. Месяц он пробыл там и с успехом выдержал испытание. Как невменяемого, его передали «родственникам» — то были его благодетели. И до сих пор Мадарип-ишан вспоминает тот случай и посмеивается.

— Нет в том греха, если правоверный обманет кяфира, — внушает он своим хальфам. — Аллаха нельзя обманывать, а если случится такое — молись, кайся. Аллах простит...

Но когда Мадарип-ишан узнал, что его ученый хальфа Алихан Рузыев стал охладевать к молитве — серьезно встревожился. С именем этого человека ишан связывал свои надежды. Он даже гордился, что однажды ему особенно повезло: в свой стан он привел настоящего студента — такого еще никогда не было! Он восхищался остротой ума Алихана, его ученой рассудительностью. Думалось, что пройдет немного времени и он, Мадарип-ишан, рукою Алихана и его разумом, напишет, конечно, не новый Коран, но свою собственную книгу деяний во славу аллаха. И вдруг склонный к душевной тоске Алихан переменился: перестал быть послушным и набожным, тоска сменилась отчаянием, благоговение — злобой. Ишану показалось, что в хальфу вселился иблис*. Он стал умолять аллаха вернуть Алихану прежнее послушание. Не помогло. Только изгнание шайтана могло еще спасти его. Алихана связали и принялись бить палками. Били несколько дней кряду. Обливали водой. Жгли огнем тело. Пускали кровь. И снова били. Алихан потерял чувствительность и перестал двигаться. Он тихо стонал, его тело покрылось гнойными ранами, по которым ползали мухи и муравьи. А в глазах уже не было ни боли, ни слез — полная отрешенность. Мадарип-ишан сказал хальфам:

— Отнесите подальше от нашего дома. Если аллаху угодно — он обретет разум и силу, вернется сам, если нет — мы, грешные, бессильны...

Алихана отнесли на болото и бросили. И вот он исчез. Ни следов, ни костей его на том месте, где он был брошен, — ничего не оказалось. Есть о чем подумать

Мадарип-ишану: а вдруг все произошло не так, как хотелось ему?..

— Аллах всемилостив, он не допустит, чтобы враги растоптали святую веру, чтобы торжествовали шайтаны.

Мадарип-ишану сделалось не по себе. Он слез с ишака и прилег на траву, прислушиваясь, как неспокойно стучит сердце. Он считал, что только одному ему принадлежит слава создания истинной религии мусульманина. То, что сделал первый «волосатый» Топовалды-ишан, было всего лишь робким началом. Топовалды-ишан не достиг главного: он не сумел дать своим делам божественного объяснения, в его поступках не было святости, он скорее шарлатан, чем проповедник. Мадарип-ишан — другое дело: он во всем старался походить на пророка. Вначале, как и пророк, он воевал против своих врагов оружием. Правда, у него не было знаменитого Джульфакара-пронзителя, каким поражал врагов Мухаммед, — в его руках тогда была новенькая английская винтовка. Потом Мадарип, как и Мухаммед, предался философским рассуждениям и пророчествам, избрав постоянным местом своего обитания Аванскую степь. Правда, здесь гиблое болото и нет горы Хары, с которой прозвучал пророческий голос Мухаммеда, но молитва, как он полагает, и с болота звучит одинаково. И жены его не были похожими даже в самой малости на старшую из жен пророка прекрасную Хадиджу. Но что из этого? Они не были так богаты и образованны, поэтому не могли разобраться в пророчествах. Его беснования (а это, пожалуй, главное, что он позаимствовал у Мухаммеда) страшно пугали жен, и они, словно по уговору, незаметно подсыпали ему в пищу всяких снадобий, чтобы избавить его от падучей. Они ведь не знали, что Мадарип-ишан видел в болезненных припадках нечто божественное. Если кто-нибудь из его учеников не мог обрести «трясучей святости», он сердился и считал, что человек все еще находится в лапах иблиса. Его били палками до тех пор, пока не сходила на него благодать аллаха. Хальфы — его ученики и проповедники, так же, как верные ученики Мухаммеда, разносили по кишлакам легенды и сказы о божественном происхождении Мадарип-ишана. Говорили, что пятикратный намаз* каждый день он совершает не где-нибудь — в Мекке! А хальфа Гузархан пошел дальше всех: каким-то старым женщинам он рассказывал, что не только сам Мадарип-ишан обладает святостью, — все, к чему прикасаются его руки, — святое!



Даже его осел наделен мудростью. Гузархан-хальфа с ожесточением доказывал, что сам был свидетелем, когда ишак Мадарип-ишана вдруг заговорил человеческим голосом и громко возвестил, что он везет на своей спине величайшего из учеников пророка.

...Мадарип-ишан лежал неподвижно в траве и думал, как трудна его доля — доля пророка и учителя. Постоянно надо следить, как бы кто не отстал, не потерял веры, не предался шайтану. Надо заботиться о том, чтобы община «волосатых» пополнялась. А это самое трудное. Все меньше и меньше появлялось желающих идти в бродяги и выдавать себя за богоугодных странников. Дервиши давно не в почете. Легко идут на это только преступники, которым надо скрываться.

Мадарип-ишан поднял голову и поглядел на дорогу. По обочине ехал усатый старик на сером как мышь ишаке. В руке у старика был тяжелый кетмень, величиною с печную заслонку. Ишан покачал головой. «Це-це, старый человек, а бестолковый: зачем ему такие большие усы? Никогда не попасть ему в рай. Усы помешают ему прикоснуться лбом к земле перед глазами аллаха. Борода — другое дело, сам пророк повелел правоверным носить

бороду». И пока Мадарип-ишан рассуждал так сам с собою, старик удивленно глядел в его сторону. Казалось, что он даже чуточку придержал ишака, словно хотел что-то сказать, но потом отвернулся и поехал своей дорогой. И хотя Мадарип-ишан считал себя пророком и ясновидцем, но он не разгадал, о чем подумал усатый старик. А старик между тем прошептал в сердитом раздумье:

— Как похож он на того бездельника Арифа... Э, мало ли бывает похожих людей на свете. Я-то ведь точно знаю: его еще в двадцатом году расстреляли, как врага новой жизни...

Усатый еще раз взглянул на рябого и прибавил ишаку прыти. Это был сторож бахчи Тургунбай Салямов.

МАЛЬЧИШКИ ДОПЫТЫВАЮТСЯ

После отъезда Джуры Насыровича самым близким человеком у ребят стал, пожалуй, Душанба. Самым близким и все еще далеким. День начинался так: утром ребята приходили в школу, кормили питомцев живого уголка, чистили клетки и вольеры, а потом шли в сад. Душанба жил теперь в саду, в глинобитной худжре* — пристройке к сараю. Джура Насырович приодел его: на нем был, хотя и поношенный, но вполне приличный костюм, который еще недавно носил сам учитель. На ногах — кирзовые сапоги, для работы они несравненно лучше, чем тапочки и даже галоши. На голове — новая тюбетейка. Ни ссадин, ни синяков, ни засохших болячек — ничего такого на его лице уже не было; чисто выбритая кожа отливала цветом урюкового отвара. Особенно изменились глаза: они как бы ожили. И чем больше уставал Душанба, тем спокойнее был его взор, тем полнее была его радость. Трудился он дотемна. Ребята уходили, а он продолжал работать. И когда деревья и кусты поглощала темнота, а хозяевами сада становились ночные птицы да не знающие угомона цикады, Душанба располагался у огонька, на котором тихо урчал медный кумган с закипевшей водой; он испытывал такое блаженство, какого не приходилось познать за всю жизнь. Здесь он был человеком и господином, и никого не надо было бояться: он сидел у своего огонька; натруженные ладони приятно согревала пиала горячего чая. Это был его чай, его лепешка, он не выманил их обманом у сердобольных ста-

рушек, не украл, а *заработал*. И мысль о том, что он трудится, работает, как все люди, счастливо успокаивала его. И только воспоминания о той девушке, которую никогда он уже не посмеет увидеть, да еще — о постылой, но уже вчерашней его жизни все еще оставались мучительными. Чаще всего в голову западала неотступная мысль: неужели он избавился от ишана? Неужели так просто и навсегда? И как только он начинал задумываться об этом — возле него, словно по чьему-то велению, появлялись ребята.

...Они присели отдохнуть. Душанба утер рукавом пот на лице и поглядел на свежепрорытый арык, по которому крутым желтым потоком шла вода.

— Молодцы, — сказал он. — Уверен, что учитель будет доволен вашей работой. Все идет хорошо. Силы у вас хватает, — он подмигнул, поправляя на голове тюбетейку. — И не только для сада, для другого дела сила тоже найдется. Это я уже по себе знаю: кулаки у вас, как груши, которые кладут на зиму, — крепкие.

Мальчишки рассмеялись. Смеялся и Душанба, доброжелательно поглядывая на ребят.

— А где ваш дружок, маленький кореец? — спросил Душанба. — Что-то не вижу его. А парень он, кажется, смелый. Правда, да?

— Еще бы! — воскликнул Иргаш. — Это Ромка — он у нас храбрый.

— Мировой пацан и честный, — добавил Федя.

— Пацан? Этого я бы не сказал. Кулаки у него не как у пацана.

Они засмеялись, поняв намек Душанбы.

— У него все хорошее и голова тоже, характер немножко плохой: горячий сильно, — сказал Иргаш. — Скоро придет. К дедушке Хвану пошел.

— Командировку ждет, пошел к дедушке попрощаться и поговорить, — пояснил Федя.

— Какую командировку?

Ребята переглянулись: сказать? Федя не утерпел:

— В Корейскую Народно-Демократическую. Сражаться с Ли Сын Маном и еще с кем-то.

— Кто он такой, этот Ли Сын?..

— Э, враг один, — ответил Иргаш, презрительно сморщив губы. — Враг корейского народа.

— Вот Ромка и хочет мозги ему вправить, — добавил Федя. — Ждет, когда его позовут туда. А его покуда не призывают, обходятся покуда.

Душанба растерянно усмехнулся. Ему показалось, что ребята подшучивают над его неосведомленностью. Недоверчиво поглядев на них, он покачал головой.

— И он сможет вправить мозги такому?..

— Ну конечно! — не дав закончить, воскликнул Федя. — Чего тут трудного-то, только бы попался: кольцо — в нос и на цепочку, как медведя!

Тут уж они не выдержали, рассмеялись. Первым закатился Иргаш, должно быть представивший себе всю нелепость нарисованной Федей сцены. Посмеявшись вдоволь, Иргаш, опорожнив пиалу холодного чая, неожиданно спросил:

— Душанба-ака, а вы больше не пойдете туда?..

Душанба встрепенулся. Он понял вопрос — ведь уже давно ждал его. Пряча от ребят взгляд и хмурясь, сухо ответил:

— Не пойду.

— А как аллах? Он будет всегда вас преследовать? Вы ведь боитесь его, Душанба-ака?

Никогда еще не испытывал Душанба такой неловкости. Его не допрашивали, но этот по-детски наивный вопрос, возникший перед ним прямо и остро, поставил его в тупик. Не отвечать уже было нельзя, хотя бы потому, что люди поверили ему и надеялись на него.

— Не знаю, как ответить на твой вопрос, Иргаш. Могу сказать лишь одно: меня преследовал не аллах, а люди, такие же, как я. Когда я был болен и голоден, аллах просто не замечал меня.

— Так его же никогда не было! — воскликнул Федя. — Разве вы не знаете этого, Душанба-ака? Какой-то хитрый чудак придумал его.

— Чудак, говоришь? Вполне может быть, — сказал Душанба и поднялся, чтобы уйти от этого неприятного разговора. — А сейчас мы пустим побольше воды, и наш арык заговорит по-другому.

Но ребята не хотели останавливаться на полдороге, не выяснив всего, что не давало им покоя. И когда они все-таки принялись за работу, Иргаш вернулся к неоконченному разговору:

— Душанба-ака, а вот люди те... Ну, которые вас... Те, с которыми вы были все время, — они сейчас есть?

— Конечно, они где-то есть, но лучше не думать о них...

И тотчас же помимо желания и воли Душанбы ему вспомнились спутники по совместным скитаниям. Буд-



то из могильного сумрака поднимались они один за другим и окружали его плотным кольцом. А через их головы на него устремились налитые злобой глаза Мадарип-ишана. Ближе всех подошел Гузархан-хальфа, кряжистый и крепкий, как пень столетнего карагача. Рядом — старые оборванцы Рауф-хальфа, сухой, как палка саксаула, Гияс, Касымали, дивона Муслим...

— Они все еще где-то обитают, — вздохнул Душанба. — Но вам не надо опасаться: сюда они не придут!

— А где они, Душанба-ака? — не отступался Иргаш. — Мы можем увидеть их?

— Зачем?!— насторожился Душанба. Этого-то он и боялся. — Они не стоят того, чтобы встречаться с ними.

— Вот и хорошо, Душанба-ака! — подхватил Иргаш. — С такими нам как раз и хочется повидаться. Вы скажите, где они, мы их быстро разыщем...

Душанба налег грудью на скользкий черен кетменя и покачал головой.

— Нельзя поступать так легкомысленно, — сдерживая волнение, сказал он. — Вы легко справились со мной, потому что я был болен и беззащитен. Там другие люди, и они так просто не отдадутся вам в руки.

— А как же?! Они обманывают людей!

— Вы сами говорите, что они нехорошие, такие же, как жулики, и даже хуже. Значит, их надо за шкирку и — куда следует, — предложил Федя.

Душанба помрачнел. В душе он понимал неотразимость мальчишеской логики: нельзя допускать, чтобы бесчестные бродяги творили зло и портили людям жизнь. Но он был еще далеко не готов принять безоговорочно то, что хотелось ребятам.

— Не надо горячиться, друзья мои, — успокаивал он не столько ребят, сколько себя. — Давайте обдумаем все, как лучше. Не торопитесь...

ПИСЬМО

Утром Саидка снова пришел в землянку. Роман лежал и, стиснув зубы, гладил больную ногу, то вытягивая, то слегка поджимая ее. Нога начала пухнуть и наливаться синевой.

— Больно, да? — спросил Саидка и уселся в дверном проеме, загородив спиной свет.

— Ага, бари-бир, терпеть можно. На поле боя всегда раненые бывают, они и в плен попадают чаще. Вот

и ты взял меня в плен раненного... Эти гады ушли или нет?

— Некоторые ушли. Не все. Скоро придут. Один Гузархан останется. Он спать будет. Кокнар кушает и будет храпеть, как ишак.

— А ты что станешь делать?

Глаза у Саидки неожиданно наполнились грустью. Ему не хотелось огорчать Ромку, но не сказать ему он не мог.

— Старик в кишлак посылает... Идти надо. Рису надо, масла, луку — все надо тащить, а то с голоду кончать будут. Ты не бойся, я скоро, очень скоро...

— Обманываешь?! — и, уже не глядя на Саидку, Роман процедил сквозь зубы: — Прислу-у-ужник волосатый. Уходи!..

— Замолчи! — прикрикнул Саидка. Незаслуженно оскорбленный, он прижал к груди обе руки и тихо, но с тревожным осуждением спросил: — Зачем так говоришь, Ромка? Честно сказал тебе. Я бы на спине тебя утащил — тяжелый ты. Большой. Как можно такого на спине тащить? Ты боишься? Не надо бояться, я сделаю хорошо, они тебя не найдут. Понимаешь?

А Ромка хотел, чтобы Саидка поскорее оставил его. Пусть ему будет трудно. Пусть он окажется лицом к лицу с врагами — унижаться перед Саидкой, просить его он не станет. Саидка же, не теряя надежды убедить Романа, лихорадочно искал что-то подходящее, думал и наконец с еще большим волнением сказал:

— Гузархан уснет — камыш таскать буду. Дыру хорошо заделаю. Никто не подумает. Лепешку тебе оставлю большую. Вкусную... Воды чистой принесу. Все хорошо будет...

Он вдруг выскочил из землянки, а через минуту снова вернулся. В его глазах поблескивал дерзкий, какой-то заговорщицкий огонек.

— Давай письмо писать будем! Мамашке твоей, я передам. Хочешь дедушке — тоже могу. На автобус — и там. Билет с меня никто не спрашивает.

— Чего раньше не сказал? — не очень уверенно спросил Роман.

— Сам не знал. Подходит, да?

— А чего еще! Конечно. Только не маме и не дедушке. Нечего их пугать. Знаешь кому? — исцарапанное, заметно похудевшее лицо Ромки с припухлыми глазами вдруг вдохновилось заманчивой идеей. — Знаешь,

Генералу Иргашу, или Сергачу напишем. Они скорее выручат, это будет даже очень здорово!

И пожалуй, только сейчас Роман понял, что освобождение — вот оно, в его руках и ждет только своего стартового момента. На деле же все оказалось гораздо труднее: под руками не было ни бумаги, ни карандаша. Саидка сбегал в шатер, перерыл все тряпье «волосатых», но там, кроме всякого мусора, ничего не было. Хоть бы какую-нибудь старую газету или книгу — написать ведь можно на всякой бумаге. Саидка знал, что у Мадарип-ишана есть «святые книги» — они у него в хурджуме, и он никогда не расстается с ними. Да и как возьмешь у ишана такую книгу? Конечно, Саидка мог бы рассказать ребятам и без письма, но поверят ли они? Особенно этот Сергач, он своей подозрительностью к Саидке может погубить все дело. Ну как же?.. Хоть немного бы порадовать Ромку?..

Саидка ползал по мокрым кочкам топкого болота и вырывал с корнями какую-то траву, похожую на перья дикого лука. Нарвал целый пучок и только тогда вернулся в землянку.

— Нет бумаги. И карандаша нет, и чернил тоже нет, — печально поведал он.

Роман безнадежно вздохнул.

— И у меня нет. Был карандаш в курточке — потерялся.

Саидка долго с настороженным вниманием глядел на шатер и, когда убедился в том, что Гузархан уже уснул, торопливо стал скидывать с себя одежонку.

— Что ты делаешь, чудак?!

— Совсем не чудак. Моей спина писать будем, — решительно сказал Саидка и тотчас же лег и вытянулся подле Романа. — Пиши!..

— С ума сошел? Чем я буду писать? Пальцем, да?

— Возьми эту траву, она пишет немножко. Сок надо выжимать. Хорошенько выжимать. Понял, да?

С подозрением разглядывал Роман бурые, подгоревшие на солнце травяные перья и не мог решить — писать или не писать? И можно ли что-то написать травой?.. Конечно же, эта затея выглядела наилучшим выражением всегдашней готовности Ромки к выдумкам — в ней было все: и никому еще не известная тайна, и заговор, и опасность провала. Вот только... почему такое «великое открытие» пришло в голову не ему, а Саидке? Впрочем, сейчас не время предаваться размышлениям

насчет своих способностей. Скорее всего он был, даже рад тому, что Саидка не жалкий бродяжка, а способный, кое-что знающий парнишка. Хорошее сообразил дельце! Теперь только надо придумать, что написать. Пошлепав ладонью по худой, давно не мытой Саидкиной спине, словно пробуя, пригодна ли она для столь важного дела, он выдавил из тугого стебля капельку зеленого сока и начал писать. Саидка надулся, как турсук*. А Роман радовался — из-под стебля выползала зеленая полоска, которая тут же на глазах сперва темнела, а затем становилась коричневой, как цвет засохшей царапины. И вот появились первые буквы, не такие ровные, как на бумаге, но буквы, говорящие о чем-то важном и необходимом. Когда сложились первые слова, Роман даже свистнул от восторга и прочитал вслух, чтобы Саидка знал, что пишется на его спине:

— «Генерал, выручай!..» — Но на Саидку эти магические слова, похоже, не произвели сильного впечатления. Он почему-то скрипел зубами и весь содрогался.

— Не вертись, криво получается, — упрашивал Роман, слегка подталкивая в бок Саидку.

— Скорее пиш-ш-ши, пожалуйста... Трава немножко яд имеет. Сильно жгет, собака...

Как только Роман закончил свое пламенное послание к другу, Саидка выскочил из землянки, словно его ошпарили кипятком. Он бегал вокруг бархана и выгибался всеми жилочками своего хрупкого тела. Так нестерпимо жгли спину ядовитые «чернила»!

Саидка ушел. Роман, предвкушая радость скорого освобождения, был особенно осторожен — непростительно глупо провалиться тогда, когда свобода уже ждет тебя. Убежище его было надежно замаскировано — Саидка и на самом деле постарался. И все-таки покоя на душе у него не было. Чудилось, что опасность сидит с ним под одной крышей и глядит на него страшными совиными глазами. Он боялся пошевельнуться лишний раз — вдруг заметят! А поблизости никого не было, кроме зачумленного кокнаром Гузархана, спавшего наркотическим сном. Рауф-хальфа еще спозаранку отправился куда-то, сунув под мышку своего петуха. «А если тому космачу захочется в холодке полежать? Что тогда? — как ножом, кольнуло в сердце Роману. — Заберется сюда, ну и... Все равно живым в руки не дамся. Пусть не думают, я еще могу...» Он положил возле себя крепкую, как железо, саксауловую палку.

Стараясь представить себе, как пробирается сейчас через болото Саидка, как бежит по тугаям, а где-то и — по барханным пескам, Роман немного успокоился, а потом и заснул.

Спал он, по-видимому, крепко: все забыл, что виделось во сне. Заслышав шум, приподнял голову: может, Генерал и Саидка пришли выручать? Но то были не его спасители. У шатра опять собрались на ночлег отшельники. Они громко рассказывали друг другу новости, принесенные из «грешного мира».

В землянке было темно и душно. Жар солнца, впитанный за день ссохшейся глиной стен, теперь скапливался внутри землянки. Роман пробрался к лазу, заваленному камышом, и, глотнув свежего воздуха, стал наблюдать. Солнце давно село. С огненно-красных барханов срывался ветер и гнал по земле волны колючего песка. Роман морщился и тер глаза. Возле шатра, как вчера, горел неяркий костер, а вокруг него сидели люди. Они болтали о своих делах, сосали нас* — Роман об этом догадывался по неясным, словно скомканным голосам, — плевались, а то и поругивались, Роману хорошо было слышно, — ветер дул в его сторону. Но вот подъехал к костру всадник на ишаке, и разговор стих. Все повскакивали со своих мест. Приехал ишан. Царь и грозный повелитель бродяг.

Мадарип-ишан выпил пиалу чая и, постелив на землю коврик, стал молиться. И никто больше не сказал ни слова. Все молились, обратив взоры свои на восток, в ту сторону, где находится заброшенная землянка — убежище, укрывшее Романа. Затем ишан сел на циновку, а вокруг него расселись странники. Огладив пальцами обеих рук бороду и сказав «аминь», он начал беседу. Говорил он как-то утомленно и вяло, хриплым, точно простуженным голосом.

— Когда красавец Абдаллах ввел в свой брачный шатер благословенную Амине, — словно преодолевая сон, рассказывал ишан, покачивая головою, — двести красавиц умерли от сердечных мучений. Они безумно любили Абдаллаха. Пришло время, и по воле всевышнего у Амине родился младенец. Он открыл глаза и сказал: «Великий аллах! Нет бога, кроме бога, и я пророк его!»

Люди в один голос воскликнули: «Нет бога, кроме бога, и Мухаммед пророк его! Аминь!» Роман робко передохнул.

— Небесный огонь озарил землю, — бесстрастно продолжал ишан, — разверзлось небо, заколебалась земля. Озеро Сава потекло обратно к своим скрытым источникам. Река Тигр вышла из берегов и затопила землю. Дворец персидского шаха Хозроя рухнул. В эту страшную ночь священный огонь зороастра*, который тысячу лет поддерживали жрецы, погас и все идолы, какие были в мире, упали и стали прахом.

Лицо самого Мадарип-ишана в эти минуты больше всего походило на идола, на изваяние из бурого зернистого камня. Даже багряные отсветы костра, скользившие по нему, нисколько не оживляли его.

— Ангелы вступили в сражение с шайтанами и разбили их. Вместе со своим главным иблисом бесы низверглись в пучину моря...

— Вот ты и есть иблис, — прошептал Роман. — Выдумывает. А эти уши развесили, слушают.

Мадарип-ишан говорил, не поднимая головы, не глядя на своих прилежных слушателей:

— В седьмой день после рождения дед младенца, благочестивый Абдалла Моталлеб, устроил большой той* и дал имя внуку, назвав его: Мухаммед!

И опять все подпрыгнули и закричали:

— Нет бога, кроме бога, и Мухаммед пророк его! Аминь!

Роман вздрогнул от неожиданности.

— На четвертом году жизни Мухаммеда, — продолжал Мадарип-ишан, — ангел Джебраил открыл ему грудь, вынул сердце, очистил его от скверны и выдавил из него черный яд греха, который унаследовал каждый человек от своего прародителя Адама. Очищенное сердце Мухаммеда ангел наполнил верой, знанием и пророческим светом...

— Эх и загибает старичок! — прошептал Роман, все больше возбуждаясь. — А они слушают эту галиматью и верят. Наши ребята со смеху бы попадали от таких сказок. И Саидка верит.

— На сороковом году жизни с Мухаммедом случилось господнее чудо, — повествовал Мадарип-ишан, согревая над костром повернутые ладонями вниз руки. — Он спал в своей пещере на горе Хара, а когда проснулся — подле него сидел ангел в образе человека. Мухаммед испугался, но ангел успокоил его и развернул перед ним свиток. «Читай!» — сказал ангел. «Я не умею читать. Неграмотный», — ответил Мухаммед.

«Читай!» — повторил ангел. И Мухаммед почувствовал, что разум его озарился божественным сиянием: он стал читать, а когда кончил, небесный посланник воскликнул: «О, Мухаммед, воистину ты — пророк бога, а я его ангел Джебраил!»

— Обманщики! — кипел ненавистью Роман и, кажется, если бы не приказание Саидки сидеть и не показываться, а пуще того страх перед скопищем бродяг, он бы не вытерпел такого надругательства над общедоступными знаниями, частью которых обладал и он, Роман Ким. — Загибает! Ну кто же может так: ни одного дня не учился, не знает ни одной буквы и вдруг, пожалуйста — книга в руках и читает без запиночки. Вот бы мне так! Тогда бы я немецкий язык знал на пятерку, как таблицу умножения! Ай-яй, завиралы болотные... И сердце у него вынимается, как яблоко из-за пазухи. Может, он и по-корейски умеет, этот хитрый пророк Мухаммед? Вот какое вранье бывает...

«Собеседование» закончилось. Мадарип-ишан поднялся, разогнул спину. Поднялись и другие и хором воскликнули: «Аминь!» Потом стали тесным кругом возле костра. И опять понеслось в ночь: «Э-э-эй! У-у-ух... Э-э-эх!..» А где-нибудь в камышах, притаившись от страха, слушала выпь и таращила в темноту злые глаза. Люди один за другим впрыгивали в круг и, кривляясь, трясли лохмотьями. Падали и колотились головами об землю. Мадарип-ишан был неузнаваем — куда девалась сонливость! Голос его теперь звучал громче всех, призывая не жалеть себя во имя аллаха. А за болотом, над барханной степью, опять уже поднялась луна. Утих ветер, холодный песок лежал твердо, как застывшая медь. Роману почудилось, будто к землянке кто-то крадется. Он зарылся поглубже в сухой, неприятно шуршащий камыш.

ГОСТЬ ТУРГУНБАЯ

Он появился неожиданно и шумно, вместе с облаком пыли, вырывавшимся из-под колес мотоцикла, черный от жаркого степного ветра, подвижный и крепкий. Подкатил к навесу, заглушил мотор и, отряхиваясь, пошел навстречу Тургунбаю.

— О-о, Алимджан, сынок, ты кстати. Давно не видал тебя, — на ходу бормотал Тургунбай. — Здравствуй, сынок. Здравствуй. Как здоровье твое? Как само-

чувствие? Помогает ли тебе аллах в нелегких делах твоих?..

— Здравствуйте, Тургунбай-ата, очень рад видеть вас здоровым и, как всегда, жизнерадостным, — весело отвечал гость, сжимая в пропахших бензином ладонях натруженные руки Тургунбая. — У меня все хорошо. Только вот не замечал, чтобы мне помогал аллах, нет у нас с ним общего языка.

— Это верно, — заулыбался старик, расправляя усы. — Люди тебе помогают, это тоже неплохо. Да и мне он что-то... Не помню, когда последний раз помогал. Духовникам — вот их он не забывает. Тут уж ничего не скажешь.

— Верно, отец... А вы, оказывается, хорошо разбираетесь...

— Думаю немного, Алимджан, работа позволяет, никто не мешает мне, вот и прикидываю что к чему.

Полуденное солнце сваривало все живое в степи, даже жесткая, точно из жести, трава тоскливо поникла. Одни кузнечики баззаботно веселились в зарослях сухой полыни, жара будто прибавляла им трескучей радости. На бахче было еще терпимо, обжигающий зной степного ветра здесь как бы умягчался арычной влагой, и потому над землей постоянно висела мельтешащая дымка.

— Тепло у вас, — сказал Алимджан и, сняв куртку, отряхнул с нее пыль.

— А в городе разве прохладней?

— Не знаю, Тургунбай-ата: давно в городе не был, все недосуг.

Алимджан — широкий в кости парень, со скуластым спокойным лицом степного табунщика; на лбу черный чуб, как у подростка, впервые отпустившего волосы. Взгляд открытый, чуть-чуть мечтательный. Тургунбай хорошо знал отца Алимджана, погибшего на войне. Они были соседями. И когда однажды к Тургунбаю зашел незнакомый человек и стал спрашивать, знает ли он Алимджана Саитбаева, старик с тревогой поглядел на чужого человека и подумал: «Не натворил ли какой беды этот мальчишка? В городе за ним некому присмотреть. Безотцовщина». Но незнакомец поспешил предупредить: «Не подумайте плохого! Алим Саитбаев отслужил в армии, окончил институт, а теперь его направляют для дальнейшей службы в управление... Вот и надо кое-что уточнить. Сами понимаете...» Тургунбай вспомнил этот

случай сейчас, когда возле него стоял сам Алимджан, не тот чумазый и шустрый мальчишка, а уравновешенный и сильный мужчина.

— Как ваша идора* преуспевает, Алимджан? — плутовато посмеивался Тургунбай, — слышал, поругивают вас кое-где. Ну, огорчаться не надо, в этом всегда есть польза. Главное, чтобы за дело ругали... Эх, кажется, совсем разболтался и забыл о приличии, — спохватился Тургунбай. — Уважаемый гость, под навес! Отдохни от жары и от пыли. А я тем временем выберу такую дыню, це-це-це... Персидский падишах такой дыни не кушал. Уж я-то знаю, где ее поискать...

Алимджан прилег на циновку и, пока Тургунбай бродил по бахче в поисках той редкостной дыни, какой не едал даже сам падишах, он разглядывал временное убранство хижины сторожа. Прислушивался, как перекликались перепела в клетках. Одна клетка висела у него над головой; шустрая птица с любопытством глядела вниз, глаза ее выпукло блестели, а когда она отвечала на голоса других, таких же невольниц, Алимджану казалось, что она вот-вот разрыдается по-человечески.

— Слышите, обижаются на вас перепелки, — заметил Алимджан, когда вернулся Тургунбай.

— На меня? Не-ет, — возразил старик и с привычной ловкостью разрезал увесистую и желтую, как лимон, дыню. — Кто поит и кормит, на того грех обижаться. Я ведь не только ловлю их, но и питаю вдоволь, ухаживаю, а они поют для меня песни. Им больше нечего делать, сынок.

— Они достойны того, чтобы их пожалеть. Ловить надо тех птиц, которые вред приносят. А перепелка...

Алимджан наслаждался сочным ароматом дыни, вырезая из нее длинные ломти, похожие на полинезийские пироги. Над ними кружились осы, слетевшиеся на сладкий запах.

— Правда ваша, отец, такой дыни не только падишаху, наверно, и аллаху не приходилось кушать.

— Это, пожалуй, верно, — в глазах у Тургунбая засветились шустрые светлячки. — Дыню ведь где попало не вырастишь — добрая землица нужна, вода целебная. А вот внучонок мой, Иргаш, толкует, бездельник, что там, где должен аллах жить, никто не пашет и не сеет. Вселенная, говорит, там и сплошная косматия.

— Космос, наверное.

— Похоже, такое что-то.

— Правильно вам объясняет внучонок, научно...

Потом они пили горьковатый, утоляющий жажду кок-чай. Беседовали о том о сем. Алимджан собрался было немного вздремнуть, чтобы переждать жару, но Тургунбай завел разговор на такую тему, что отдых пришлось отложить.

— Скажи мне, сынок, — это правда, что в наших местах все еще бродят «волосатые» дервиши?

— А разве они давали клятву отказаться от бродяжничества?

— Давно я ничего не слыхал про них, — медленно отхлебывая из пиалы чай, продолжал старик. — А вот совсем недавно они будто опять появились. А вчера старика на дороге встретил, оч-чень не понравился мне этот старик. На Ариф-ишана похож. Ты, конечно, не знаешь, что за человек был Ариф. Но я-то хорошо знал его.

— Так ведь его, кажется, осудили, как активного басмача, еще в двадцатых годах, — усмехнулся Алимджан. — Меня тогда и на свете не было.

— На свете тебя не было. Это правда. Но ты уже успел кое-что узнать. А я хотел удивить тебя. Опоздал. И все-таки, сынок, не мог я ошибиться. Нет. Старый я человек, но память кое-что держит и крепко.

— А воскреснуть Ариф-ишан может? — лукавил Алимджан. — Воскресение из мертвых пока удалось только одному Христу, как утверждают христианские попы. А у мусульман ничего похожего, кажется, не было, не так ли?

Тургунбай между тем далек был от того, чтобы шутить, и серьезно, почти сердито поглядывал на своего гостя.

— Всю ночь думал о том старике, — продолжал он. — Знал его. Вот и удивительно... И он поглядел на меня, но сделал вид, что не замечает. На земле лежал, недалеко от дороги. А рядом, на обочине, ишак его кормился.

— Да-а, — неопределенно произнес Алимджан и, вскинув на Тургунбая почти смеющиеся глаза, спросил: — А почему вы, почтеннейший Тургунбай-ата, не сказали мне о том, как ребятам, предводительствуемым вашим внуком, удалось повстречать волосатого человека?

— О-о! — сразу засуетился Тургунбай. — Прости меня, старого осла, сынок. Забыл. Самое главное и забыл! — сокрушался он, разводя руками. — И все этот Ариф попутал, не видать бы мне его никогда. Правда твоя — мальчишки нашли одного дикаря в тугаях и привели ко мне. Как сумели — не знаю. Не спрашивал. Что о нем можно сказать? Дикарь дикарем. Может, он и не из тех непутевых ишанов — просто сумасшедший, кто его знает. Больной и дырявый весь, жилец из него ненадежный.

— А если он не из тех, то зачем же вы взяли винтовку, когда повели его в кишлак?

— Все ты знаешь! А без винтовки мне никак нельзя, положение мое такое — караульный!

— Так, так... Ну а жилец из него будет, — уверенно сказал Алимджан. — Ребята приютили его в своем живом уголке. Говорят, опыты научные собираются на нем ставить, — шутил Алимджан. — Да, да, собираются сделать из дикаря современного человека. А уж если они возьмутся — толк будет.

— Эх выдумщики, эх мошенники! Ничего мне не рассказывали, — ворчал Тургунбай, не то возмущаясь, не то радуясь. — Давно не вижу их. С тех пор как связались со своим космачом, носа на бахчу не показывают. Ну погодите же, все равно меня не обойдете. Все это придумывают, пожалуй, не они, сынок, — домла* Джуракул их балует, они так и увиваются возле него.

— Не совсем так. Учитель уехал отдыхать.

— Уехал?! А этих сопляков оставил с косматым? И ты думаешь, хорошо поступил учитель?

— Плохого пока не замечаю.

— Хорошо? Не знаю... А что же ты не скажешь мне про Ариф-ишана?

— Чего вам сказать? Это — он, Мадарип-ишан.

Седобородое лицо Тургунбая вытянулось как дыня.

— Ты сказал: Мадарип-ишан?

— Да, именно — Мадарип-ишан. Конечно, знакомый вам Ариф-ишан не воскрес из мертвых, просто ему повезло... Только жить после этого он стал в ином, так сказать, образе. Но живет.

— И занимается вредительством?

— Вот это я хотел бы знать, Тургунбай-ата.

— Да-а, — озадаченно произнес старик.

— Живет. Мюриды помогают. Почитают его как бога.

— А вы куда глядите?! — не вытерпев, крикнул Тургунбай. — Чего ждете? В тюрьму не можете посадить? Что — неправду я говорю? Э-э, вы теперь... Нет, ЧК и ГПУ сумели бы... — горячился старик.

Алимджан был спокоен, он глядел не на Тургунбая, а на старую, с трещиной в прикладе винтовку, висевшую под навесом вместе с брезентовым ведром и связкой стручкового перца. Ему вдруг пришла в голову нелепая мысль: если бы эта винтовка вдруг заговорила человеческим голосом, сколько бы она поведала неповторимых, полных трагизма историй. И уж, конечно, не умолчала бы о молодом красногвардейце Тургунбае Салямове, который добыл ее в бою и которому, как бы в благодарность за доброе дело, она потом не раз доказала свою огневую верность. Кончились боевые походы, и наступило для нее время заслуженного отдыха. Висит старенькая винтовка на арчовом сучке, что прибит к столбу под навесом и, пожалуй, не как грозное оружие, а как привычный предмет быта седого бойца. Как память о его суровой молодости. Алимджан стряхнул с себя мимолетную грусть и спокойно сказал:

— Военный коммунизм давно кончился, отец, мы живем в другое время. А то, что вы предлагаете сделать, — это никогда не поздно, если к тому есть законные основания.

Тургунбай недовольно нахмурился. И все же ему приятно было заметить мудрую зрелость человека, которого он еще вчера видел среди чумазых кишлачных мальчишек.

— Что сейчас делают Мадарип-ишан и его друзья? — продолжал Алимджан, словно споря. — Формируют банды басмачей? А может, ведут тайную антисоветскую работу?

— Не знаю, сынок, — с испугом произнес старик.

— Ну так вот, басмачей они не вербуют — это точно. Они бродят по всяким«святым» местам, каких у нас еще немало, собирают назир. И конечно же, раздают за деньги тумары и всякие амулеты с предсказаниями, обманывают — находятся еще такие простаки, которые всему верят. Иногда несут вздор всякий, нас ругают. Пугают людей небом и адом. Что могут сказать хорошего бродячие проповедники самой дикой секты ислама? А собираются где-то в тугаях на малом островке Поганого болота и пляшут там, как загробные тени.

—Для меня это новость, сынок.

— Нового здесь мало, Тургунбай-ата... Бродячие мертвецы, и хотя живут они чаще всего под чужими именами, но какая это жизнь? Кто за ними пойдет теперь? — Алимджан отрезал еще один ломоть дыни и впился в него обветренным ртом. — Скажу по секрету, отец, мы знаем, что они делают. Это ведь наша обязанность, и уж чего-чего, а такое мы знать обязаны. Конечно, и вам не грех помнить, что такие возмутители спокойствия еще не перевелись. Они— приманка для поганых мух... Понимаете? А вдруг такая муха и присосется к кому-нибудь из них. А? Частенько они забредают в ваши края, не забывайте об этом, Тургунбай-ата.

Алимджан отбросил подальше дынную корку и, сполоснув руки из кумгана, стал собираться в дорогу.

— Будьте здоровы, отец, — улыбнулся белозубым ртом. Затем напялил на лоб круглые, как у пилота, очки и одним толчком ноги запустил мотор мотоцикла.

ТРЕВОГА

По запутанным кишлачным тупикам и проулкам нехотя разбредался скот. В подворотнях, задыхаясь пылью, хрипло тявкали собаки. А во дворах уже слышалось позвякивание посуды. Вкусно пахло дымком. В это время Федя Пестунов, усталый, в заляпанных глиной штанах, зашел на свой двор. У калитки его встретила женщина. Это была мать Романа. Федя сразу заметил, что она чем-то взволнована.

— Тебя-то мне и надо, Федюшка, — сказала она, придерживая калитку. — Ромку не видал?

— Н-нет. Не видал, — не сразу отозвался Федя. — Вы мне говорили, что он к дедушке Хвану ушел.

Мать вдруг всхлипнула и фартуком прикрыла лицо.

— Дедушка Хван сам сегодня приехал. Ромки у него не было, не приходил, — проговорила она сквозь слезы.

— Как — не приходил?!

Но женщина уже не слушала Федю. Опустившись на чурбак, врытый возле калитки, она горько рыдала.

— Не плачьте, тетя, — успокаивал ее Федя. — Ромка никуда не денется. Он смелый и сильный, с кем хочешь справится. Найдем мы его...

Федя забыл про голод, раньше времени пригнавший его к дому, опрометью кинулся от ворот и тотчас рас-

творился в пыльном сумраке вечера. А через четверть часа Федя и Иргаш уже сидели в тесной, с низким камышовым потолком худжре. Неяркий свет «летучей мыши» падал на их встревоженные лица.

— Куда он мог уйти? — спросил Душанба.

— Пошел к своему деду, но не дошел. — Федя повторил слова Ромкиной матери.

— А у дедушки Тургунбая он не может быть? — продолжал расспросы Душанба.

— Не может, — ответил Иргаш.

— Ты зна-а-аешь, Генерал? Догадываюсь! — Федя вскочил с места.

— Говори.

— Укатил в Корейскую Народно-Демократическую! Получил вызов, командировочку в карман и — до свиданьица, братцы кролики!

— Как можно?! —встревожился Душанба и подсел ближе к фонарю. — Это ведь заграница? Что ты говоришь, Федя?

— Придумать все можно, — проворчал Иргаш.

— Больше ему некуда податься.

— В трусиках и в майке туда поедет, да? — Иргаш сердито уставился на Федю. — К такому путешествию готовиться надо. Продуктов припасти, там не очень всего хватает. Думать надо! — постучал он пальцем себе по лбу.

— У него давно все припасено, — не сдавался Федя.

— Ничего не припасено. И письмо ему еще не прислали. А как без письма поедешь?

— Может, получил и помалкивает.

— Ромка — он бы сказал обязательно. А вот ты, Сергач, не скажешь...

Федины доводы иссякли. Душанба, слушая пререкательства ребят, не понимал, как можно серьезно разговаривать о поездке в какую-то очень далекую, почти неведомую страну. И неужели каждому мальчишке позволительно поступать так: вскинуть на спину рюкзак и, не сказав родителям, укатить на войну или еще куда ему вздумается. Непонятный народ эти мальчишки. Неужели и он когда-то был таким? На минуту он вспомнил годы войны и Мадарип-ишана — больно заныло сердце. И сейчас же невольно почудилось ему, что Ромка где-то выслеживает ишана, идет за ним, как охотник по следу крупного зверя. Он торопливо отпил несколько глотков остуженного чая.

— А где живет его дедушка? — волнуясь, спросил он. — Может, сходить к нему и на месте все разузнать?

— Далеко. В другом районе, — ответил Иргаш. — Бувайда район называется. А какой кишлак — не знаем.

Душанба вздрогнул. Место, названное Иргашем, хорошо знакомо ему.

— О, аллах! Придет ли конец испытаниям... — прошептал он.

Ребята нахохлились и думали теперь только о Ромке. А на Душанбу неотразимо надвигались мрачные воспоминания. Он поднялся и, ничего не сказав, вышел из худжры. Через минуту поднялся Иргаш.

— Нечего ждать, — сказал он. — Искать будем Ромку.

ПОСЛАННИК

Саидка торопился. Ему хотелось прийти в кишлак ночью, незаметно, как он делал всегда, неукоснительно выполняя волю ишана, но летняя ночь слишком коротка: не успеешь попрощаться с солнцем и приглядеться к почти осязаемой темноте — на востоке снова уже пылает заря. И сразу просыпается жизнь. В такое время лучше не попадаться на глаза людям — они любопытны и ничего не пропускают незамеченным.

Укрывшись за обвалившимся дувалом, Саидка огляделся и незаметно юркнул в узкий, как рукав халата, проулок. Он был уверен, что Иргаш еще спит. Потоптавшись возле калитки, украшенной небогатой резьбой, он решил ждать Иргаша в его же саду, потому что на улице стоять неудобно: выйдет кто — и как раз... Но когда он бесшумно, по-кошачьи перелез на брюхе через дувал и уже нацелился спрыгнуть вниз, услыхал чей-то злорадный голос:

— Попался, ворина! Теперь я знаю, кто в нашем саду груши ворует.

Внизу, задрав голову, стоял Иргаш в своей фуражке. В руках у него была кривая, как хоккейная клюшка, палка.

— Шакал голодный. Мне давно надо было отлупить тебя. Вор несчастный! Слезай, чего ждешь?!

— Я не вор, — чуть выдавил из себя Саидка и весь съежился.

Он опять преобразился в того робкого и бессловесного зверька, каким привыкли видеть его мальчишки.

— Слезай!

Саидка только теперь понял, что выбрал он не то место, где можно вести серьезные разговоры. Надо или как-то поправить ошибку, или поскорее бежать отсюда. Чуть приподнявшись, он спрыгнул с дувала, но подвел старый халат — зацепился полой за толстый сучок урючины, и Саидка повис, как мешок с сыром.

— Так тебе и надо. Не воруй! — кричал Иргаш.

Саидка висел на суку и чувствовал, как расползался его прелый халат, еще минута — и он разорвется на куски, и тогда Саидка вывалится из него прямо к ногам Иргаша. Не было у него желания так глупо предстать перед грозным противником, а еще глупее — остаться без халата: другой одежды у него не было.

— Пособи, Иргаш! — пропищал он, багровея от натуги. — Не надо смеяться, я за делом к тебе.

Иргашу и в самом деле сперва показалось смешным: висит Саидка на суку и дрыгает руками и ногами, точно большой паук лапками. Но потом, уловив в его голосе просительную робость и раскаяние, он пожалел его: взобрался по лестнице на дувал и помог Саидке спуститься на землю.

— Чего хотел сказать?

— Можно к тебе? — отряхиваясь, спросил Саидка.

— Иди не как вор — через калитку...

Саидка скинул с себя халат и повернулся к Иргашу голой спиной.

— Читай!

Иргаш стоял перед измаранной Саидкиной спиной, как перед загадочной писаницей, какие он не раз видел на камнях в пещерах; глядел удивленно и немного растерянно. Бурые, слегка припухшие буквы и слова, казалось, были написаны огнем.

— Что это? — спросил он.

— Читай, ты в школу ходишь.

— «Генерал, выручай! По дурости попал к волосатым чертям. Смешно? А мне нет. Саидка расскажет. Ромка».

Иргаш схватил Саидку за голые плечи и рывком повернул к себе лицом.

— Рассказывай, только без вранья!

— Тут на-написано, — чуть слышно пролепетал Саидка и повалился, как подкошенный сноп. Иргаш опрометью кинулся в дом. А когда он вернулся с лепешкой и



кусIком вяленой баранины, Саидка, привалившись спиной к стволу груши и уронив на грудь голову в дервишеской папахе, уже спал. Иргаш сунул в его немощные руки еду, обозвал собакой и убежал со двора.

...И вот они уже вместе с Федей Сергачом стоят возле спящего Саидки и с тревогой разглядывают его, будто это вовсе не Саидка, а некий еще не известный науке экспонат из семейства позвоночных, который вскоре украсит их живой уголок.

— А где он? Ромка-то где? — все еще не уяснив сути дела, допытывался Федя. — Саидка наврет три короба, только слушай. Я этого мудреца знаю. Помнишь, о его проделочках тебе докладывал? С бродягами путается и сам бродяга...

— Ну понес... А у нас в Сергаче... Да? Вот поэтому он и не станет врать, что с бродягами путается. Понял? Погляди ему на спину. Никто, кроме Ромки, такого не придумает.

Федя наклонился, ощупал голое тело Саидки и оторопел, словно ощутил на своей спине жгучую боль.

— Вот черт!.. — вырвалось у него. — Как его туда занесло? И Саидка этот... А он как туда попал?

— Чего болтать — выручать надо!

— Конечно, выручать...

Но как выручать, с какой стороны приступиться к этому трудному делу — Федя не представлял. Не представлял этого и решительный Генерал, он, кажется, ждал, когда проснется Саидка.

— Чего он дрыхнет, такой случай, а он... — не терпелось Феде.

— Спать хочет. Наверно, всю ночь и весь день шел.

Саидка между тем почмокал губами, точно во рту у него была соска и по ней текло теплое молоко, свалил голову на другое плечо — не понравилось, опять принял прежнее положение. Поморщившись, открыл глаза и первое, что увидел, — еду: она была у него в руках. Отломив кусок лепешки, он затолкал его в рот, затем принялся за баранину. Перед его глазами стояли голые, в засохших царапинах ноги. Он ел и, про себя размышляя, догадывался, что справа, черные с оттопыренным большим пальцем — ноги Иргаша, слева, в кровоточащих цыпках, с бурыми обломками ногтей — ноги Феди Сергача. Мальчишеские ноги словно переговаривались между собою, переступали, разминая ступнями пыль, и даже, кажется, немного волновались. Зато Саидка был совершенно спокоен: ему все было ясно.

— Чего станем делать: хватит, чай, набивать брюхото? — не вытерпел Федя.

— Пойдем туда, — давясь лепешкой, ответил Саидка. — Скоро пойдем. Далеко. Кушать хорошенько надо...

Прежде чем отправиться в дорогу, Саидка с большим вниманием оглядел своих спутников. Затем, подтянув штаны, поправил висевший на тесемке кривой нож в кожаных ножнах.

— Пичах* есть? — спросил он. И, заметив, как ребята растерянно переглянулись, сказал: — Ножик надо. В тугаи пойдем, там волк бывает, шакал, ядовитый змея попадает.

Отправились знакомой дорогой. Степь, как всегда в это время, казалась горчично-желтой и тесной от миражей. Раскаленная земля жгла ноги. Ни одной живой травинки — все сгорело! Впереди, взбивая остроносыми галошами пыль, шагал Саидка. Если бы не его высокая дервишская шапка, он казался бы маленьким заморышем, беззащитным и слабосильным. Папаха, как копна сена, всей своей тяжестью прижимала его к земле, она же прибавляла росту и уравнивала его с мальчишками, когда они стояли рядом. А еще она придавала ему ка-

кую-то таинственную силу маленького волшебника. Теперь на его лице уже не было того испуга, какой давал повод ребятам демонстрировать над ним свое превосходство в силе. Он нет-нет да и оборачивался назад и сердито пояснял своим спутникам, как нужно вести себя в тугаях и на болоте, особенно там, где можно встретиться с дервишами. Иргаш, в отличие от Феди, который постоянно что-нибудь уточнял, шел молча. А когда они подошли к арыку и узкой, как пастушья плеть, тропке, что вела на колхозную бахчу, он кивнул головой.

— Зайдем на минутку. Арбуз один скушаем. Жарко,

Никто возражать не стал. Только впереди теперь шел не Саидка, а Иргаш. Даже Федя терялся в догадках, почему Генерал принял такое не подходящее к случаю решение. Надо спешить, а ему почему-то захотелось арбуза. Но это недоумение развеялось тотчас же, как только они зашли под навес жилища караульщика. Деда возле балагана не оказалось, а Иргаш, похоже, и ждать его не собирался, а искать — и тем более. Он сорвал с крюка винтовку и старый засаленный подсумок с патронами, победоносно взглянул на ребят и скомандовал:

— Пошли скорее... Эта штука может нам пригодиться.

— Стрелять умеешь, да? — спросил Саидка, когда они, миновав бахчу, уже без страха вышагивали по дороге.

— А чего трудного? Стрелял сто раз.

— И я стрелял, — похвалился Федя. — Эта винтовка крепко бьет, надежно, только плечо потом немножко болит.

— Почему болит? — не понял Саидка.

— Выстрелом отдает. Она вон какая старинная, — объяснял Иргаш. Но Саидка должно быть, не понимал, как и что может отдавать человеку винтовка, и только восхищенно поцокал языком.

— Прицелиться можешь? Мушку взять? — продолжал он.

— Могу. На двести метров могу. Давай ставь свою шапку, — засмеялся Иргаш, — сейчас — дыра будет.

— Ой-ей! — Саидка опять почмокал языком. — Шапку нельзя стрелять, она плохое не делает. Другое надо стрелять.

— А куда тебе такую шишигу? — заметил с насмешкой Федя. — В ней, наверно, целый центнер весу.

— Тепло в ней...

Жаркая степь уступила место болотам, кочкарнику и камышам. Густой запах травяной гнили давил на грудь.

Идти становилось труднее. Саидка следил за тем, чтобы не потерять тропинку и не провалиться в трясину.

— Ночью тоже здесь шел? — спросил Федя.

— Ага.

Больше он не стал спрашивать. Наверно, очень страшно бывает ночью на Поганом болоте, подумал Федя и представил себе, с какой, должно быть, злой решимостью шагал по кочкарнику на что-то обидевшийся Ромка.

ДОГАДКА ДУШАНБЫ

Предчувствие близкой тревоги пришло к нему, как только он вышел из худжры и направился к арыку, чтобы умыться. В кустах, по ту сторону арыка, промелькнул мальчишка. Душанба сразу не узнал, кто это был, но почему-то подумал на Саидку. Остановился. Не ожидал он встретить в школьном саду порученца Мадарип-ишана. Что привело его сюда? Он еще раз пригляделся к кустам, но там никто больше не появлялся. Утро у Душанбы было испорчено. Работа не спорилась. Он часто поглядывал на ворота: ждал ребят. Школьники пришли в сад, как обычно, но среди них не было ни Иргаша, ни Феди.

«Что-то случилось, — думал Душанба, разводя школьников по участкам работы. — Иргаш и Федя всегда были первыми, и вот не пришли. Может, Роман вернулся и они с радости забыли о работе?..»

Перед обедом Душанба подозвал маленького застенчивого Кулдаша и сказал ему:

— Зайди, пожалуйста, дружок, к Иргашу Курбанову и узнай, не заболел ли он и не нуждается ли в нашей помощи? А если его не окажется дома — сходи к Феде Пестунову. Там обязательно найдешь их.

Малыш тряхнул головой и помчался. Душанба не стал обедать, а опять принялся за работу.

«Не заманил ли их куда-нибудь Саидка? — думалось ему. — Они и не представляют, куда может затянуть их этот слуга Мадарип-ишана».

Кулдаш скоро вернулся, и как говорится, с пустыми руками: ребят не нашел. Сказал, что домашние Иргаша и Феди сами не знают, куда девались ребята. Однако Кулдаш, не задумываясь, объявил:

— Они к дедушке Тургунбаю убежали. Зачем им в другое место? У дедушки вкусно: арбузов много, дыни поспели...

«Пожалуй, верно говорит Кулдаш, — успокаивал себя Душанба. — Зачем я так тревожусь? И вечер не наступит, как они прибегут и принесут хорошую дыню».

Весь день прождал Душанба. Ребята не пришли. Он сходил к арыку, постоял на том месте, откуда утром заметил Саидку, но там было тихо и сумрачно. И в самом деле, не мог же Саидка весь день проторчать в кустах, не за этим он приходил. «Маленький оборванец, а сумел обмануть взрослого человека», — подумал Душанба. Даже обидно стало. Срезав тутовую палку потолще и перейдя по зыбкой жердочке на противоположный берег арыка, он быстро пошел к тракту.

На бахчу Душанба пришел поздно. Степь наполнилась запахами сырой, только что орошенной земли и ароматом поспевающих дынь. На пригорке, где стояли навес и хижина караульщика, слабо курился костер, на котором Тургунбай кипятил чай. Пес, зачуяв чужого, хрипло тявкнул, поднял к небу иссеченную старыми рубцами морду. Тургунбай притопнул на него и приказал замолчать.

— Салам алейкум, Тургунбай-ака! — как изваяние стал у костра Душанба и приложил к груди руку.

— Ваалейкум ассалам, добрый человек, — приветливо ответил Тургунбай, разглядывая гостя.

Душанба тем временем успел окинуть быстрым взглядом навес, хижину и даже клетки с перепелами. Ничто не выдавало здесь присутствия кого-то еще, кроме старого караульщика.

— А гостей у вас разве не было? — спросил Душанба, все еще шаря по сторонам беспокойными глазами.

— Кто вы, почтеннейший? Я что-то не могу припомнить вас.

— О-о, я — ваш старый знакомый!

— Не помню, чтобы у меня были такие знакомые. Память стала совсем никудышная.

— Я тот самый человек, которого вы и мальчишки — среди них был и ваш внук Иргаш — доставили под винтовкой в кишлак, — печально усмехнулся Душанба и поклонился.

— Так, так, — проворчал старик, не скрывая своей растерянности. — Да... Разве можно признать вас? Вон, оказывается какой вы. Вполне исправный человек. А о каких гостях вы спрашиваете, уважаемый?

— Внучонок у вас не был сегодня?

— Иргаш?! — Тургунбай сказал это таким тоном,

будто его спрашивали о чем-то совершенно невозможном. — Что вы, уважаемый, с того дня я только один раз и видел его. Добрые люди говорят, что эти озорники, как познакомились с вами, родителей своих позабыли.

— Это не так, Тургунбай-ака, — возразил Душанба. — Не я в том причина. Работы в саду много. Учитель оказал им большое доверие. Они там хозяева, а я у них работник да еще старший по возрасту.

Между тем Тургунбай тоже встревожился. Ему показалось, что Душанба что-то не договаривает.

— А разве Иргаш... должен был прийти сюда, ко мне? — спросил он.

— Не знаю, уважаемый. Я посылал к нему мальчика, он вернулся и уверял меня, что Иргаш и Федя ушли к вам.

— Постойте, постойте, дорогой гость. По-стой-те... — Тургунбай засуетился: заглянул под навес. Каково же было удивление Душанбы, когда через минуту он услыхал крик и ругань старика. Тургунбай выбежал из-под навеса совсем растерявшимся.

— Винтовка моя!.. — крикнул он, всплеснув руками.— Вы что-нибудь понимаете?.. Неужели эти безобразники могли похитить мою винтовку? Ох-хо, вот напасть на мою старую голову...

Душанба понял: опасения его не были напрасными. Саидка принес в кишлак тревогу. И если сейчас же не распутать следы тайного посланника — потом будет поздно.

А над степью тем временем густела ночь. Она ложилась на землю бесшумно и мягко, как ложатся хлопья сажи, летящие из дымовой трубы. И чем темнее становилась земля, тем, казалось, ниже опускалось небо, сверкавшее крупными лохматыми звездами. С гор потянуло прохладой. Душанба застегнул пиджак.

— Придется идти, Тургунбай-ака, — сказал он. — Утром мы будем на месте.

— О чем вы говорите? Я ничего не могу понять, — недовольно ворчал старик.

— Не берусь предугадывать, но боюсь, как бы наши ребята не попали к «волосатым ишанам». — И уже будто для одного себя: — Веселое дело — путешествие ночью.

Тургунбай тоже не видел ничего хорошего в этом походе. Ночью тугаи кишат зверьем и гадами. Идти туда с одной палкой, без оружия и без верных проводников — чистейшая глупость. Да и не верилось, что его внук

Ирґаш, обычно рассудительный и сдержанный, мог решиться на такое безумное дело да еще втянуть в него своих дружков.

— Ох-хо, конечно, надо идти, — ворчал потрясенный старик. — Надо. Придется идти... А как я бахчу оставлю? А если кто... — Но он и сам понимал, что этот разговор — занятие пустое и ничего уже не изменит — Слышишь, старый бездельник! — закричал он вдруг на собаку и швырнул в нее ком земли. — Бахчу и все хозяйство на тебя оставляю, негодная тварь! Запомни: за то, что прокараулил винтовку, — разговор особый. Ты у меня ответишь по всей строгости. Разбойник...

Не отозвался на эту угрозу корноухий пес. Он лежал под навесом возле того столбика, к которому был приколочен арчовый сук и где еще утром висела винтовка. Лежал и ловил мух, страшно надоедавших ему. Он не любил, когда его хозяин сердился. Но что сделаешь? Служба есть служба...

ШТУРМ АЖАЛ-БАЛЧИКА

...А мальчишки все ближе подбирались к убежищу «волосатых». Здесь тоже была ночь, но еще более жуткая, чем там, в саду или на бахче. Над болотом, которое ребята обошли по кочкарнику и оставили слева, плавал белый туман, там что-то без умолку булькало, плескалось и тяжко вздыхало. В темноте бесшумно скользили ночные птицы и страшно пугали ребят, когда чуть не задевали крыльями по лицу. Где-то в камышах ухала выпь, а ребятам казалось, что она шла следом за ними и высовывала свой длинный нос то из-под куста, то из-под черной коряги. Однако Саидка не обращал внимания на птиц, не замечал и выпи, он прислушивался к другому.

— Тише! — вдруг скомандовал он и припал к земле. Послушал и объявил: — Ждите. Сперва я один. Немножко разведку надо делать.

Нырнув в темноту, он слился с нею, оставив после себя лишь слабый шорох травы. Иргаш сжал обеими руками винтовку и затаил дыхание. А Федя лежал между больших кочек, как на спине двугорбого верблюда, и изо всех сил пялил глаза, но ничего пред собой не видел.

«Чего ночью можно сделать хорошего? — подумал он. — Надо получше устроиться и часок прикорнуть».

— Слышишь, Генерал, — шепнул Федя. — Ска-ж-и Са-ид-ке, что дальше не пойдем. Понял, да?

— Сиди и хорошенько гляди.

— Ничего не слы-шу.

— Не мешай слушать мне...

Федя задумался. Перед его мысленным взором стоял Ромка, очень серьезный и даже сердитый. Может, эти «волосатые» уже расправились с ним? Может, съели его и обглодали косточки, как людоеды. Эх, Ромка... Слабый треск камыша разрушил дремотные раздумья Феди. Это возратился Саидка из своей разведывательной вылазки. Он сел возле Иргаша и, вздохнув, сказал:

— Нельзя ходить. Большой джар делают: пляшут, немножко ухают.

— А Ромка где? Что он делает? — не терпелось Иргашу.

— Не знаю. «Волосатые» там сидят, костер жгут, прыгают. Злые как волки, нельзя им мешать сейчас.

— А мы что станем делать? — спросил Федя.

— Здесь сидеть. Ждать будем.

— А потом?

— Утром они — фьють! Уйдут. Один человек останется, — разъяснял Саидка, не переставая прислушиваться к шуму, доносившемуся из камышей. — Кто останется — не знаю. Может, Гузархан-хальфа, может, отец мой.

— Твой отец?! — удивился Иргаш. — Он тоже?.. А чего ему здесь делать?

— Он всегда здесь. Дом забросил, маму совсем не уважает, — печально поведал Саидка. — Где Мадарип-ишан, там отец всегда бывает.

Саидке больно от такого признания. Больно потому, что это — страшное горе в их доме. И никто не знал, как от него избавиться. Мать день и ночь плакала, а все старания Саидки унять ее слезы были тщетны. А что будет завтра с их семьей — тоже никто не знает. Может, дикая воля отца опять сломит Саидку, и он безропотно пойдет собирать для него жестянки и сушить тыквочки. А пока отец его, Муслим-дивона, и Мадарип-ишан не знают, где находится и что делает Саидка, ему легко дышится и он рад тому, что мальчишки разговаривают с ним как с равным.

— Стрельнем разок, — предложил Иргаш, чуть слышно лязгнув затвором. — Откроем огонь. А?

— А потом с трех сторон нападем на них, — поддаваясь соблазну, поддержал Федя.

— Нельзя! — сердито зашептал Саидка. — Их много. Может, тридцать человек есть.

— Ружье у них есть? — переспросил Иргаш уже не так бодро.

— Знаешь, Гузархан-хальфа — он без ружья, одной рукой возьмет нас и бросит.

— Нет уж... Придется ждать утра, — сказал Федя и стал удобнее устраиваться.

— Утром хорошо будет, — подтвердил Саидка. — Тихонько подползаем, совсем незаметно. Ромка будет наш. Он ждет.

А Иргашу хотелось все-таки по-другому: с огневым боем. Чтобы пули свистели над косматыми головами ненавистных сектантов. Чтобы бежали они без оглядки, побросав в болото свое барахлишко. И чтобы Ромка был счастлив, как боец, освобожденный друзьями из страшного плена. Он достоин того, чтобы ради его спасения был совершен настоящий подвиг. Но сейчас, в этой неясной обстановке, нельзя не послушать и Саидку. Жаль только, если не придется применить винтовку.

Саидка, измученный долгой ходьбой и тревогами, сразу уснул, уткнувшись шапкой в сухую кочку. Уснул и Федя. А Иргаш рассудил иначе: кто-то же должен быть на часах! Поначалу он чутко прислушивался к возне, доносившейся из камышей, к невнятным голосам, поглощаемым болотом, а когда в тех таинственных далях все затихло, он привалился боком к округлой кочке, поросшей ржавым осочником, и стал искать знакомые звезды на аспидно-черном небе. Но знакомых звезд у него нашлось не так уж много: Полярная звезда, созвездия Большой и Малой Медведицы — это те самые безошибочно находимые звезды, о которых не раз рассказывал Джура Насырович. А вон и Млечный Путь — большая небесная дорога. Дед Тургунбай както рассказывал ему, что по этой светлой дороге, усыпанной алмазами и сапфирами, прогуливается сам всевышний и поглядывает, что делается на земле. Он спорил и доказывал деду, что Млечный Путь — это не шоссейка, какая идет из Ферганы в Коканд или в Ташкент, — это Млечный Путь! Звезды! Пыль и газы. Но дед все равно не поверил и сказал: «Ты был там? Тогда лучше молчи, не болтай вздор»! Дед хотя и не такой уж сильно верующий, часто и с муллой не ладит и в мечеть ходит раз в год, но за аллаха всегда заступается. Особенно не любит, когда кто-нибудь поминает его плохими словами. Наблюдая за звездами, Иргаш невольно отвлекся от задачи, которую сам же поставил

перед собой. Ребята не донимали его вопросами. А звезды — они безмолвны. Сперва они казались ему очень близкими и яркими, как лампы дневного света, что горят в колхозном Дворце культуры. Но потом они стали мигать, меркнуть, и скоро Иргаш перестал их видеть.

...Первым проснулся Саидка. Проснулся от липкого холода. С солончаковых топей поднимался туман и, едва перевалив гриву, задерживаемый кустами и камышом, мягко ложился в понизи. Медленно вставало солнце, и там, где лучи его прокалывали пушистую мглу тумана, вспыхивали светлые радуги. Халат не согревал Саидку, он был волглым, и прикосновение его к голому телу вызывало озноб. Саидка подполз к Иргашу.

— Эй, Генерал, чего спишь долго! Вставай. Давно пора. Самое хорошее время проспали.

Иргаш подскочил. Бессмысленными и встревоженными глазами огляделся вокруг. Он тоже продрог до костей. Федя выбрался из своего «верблюжьего седла» и зябко переминался с ноги на ногу.

— Надо было костер развести, — проворчал он, — тогда не замерзли бы.

— У тебя, Сергач, никакой военной смекалки... — строго заметил Иргаш. — Зачем костер? Чтобы они тихонечко окружили нас и передушили, как сонных горляшек на чердаке. Да?

— Но ты же не спал, дежурил?..

Иргаш не стал отвечать на такой несерьезный вопрос. Они тронулись в путь. По-заячьи прыгая с кочки на кочку, Саидка прокладывал дорогу в мокром, выбеленном росой осочнике. Но заячьи прыжки совсем не помогали: не сделав и десяти таких перепрыжек, мальчишки вымокли по самую маковку; роса ледяными брызгами обдавала их с каждого куста тамариска, с каждой одинокой камышины. Саидка присел и подал знак, чтобы все остановились.

— Ишаков нет. Уехали, — шепнул он. — Один Гузархан сидит здесь. Что будем делать?

— Действовать! Ждать нечего, —ответил Иргаш командирским тоном. — Где сидит Ромка?

— За кустом джиды. Там землянка есть. Совсем близко...

— Ясно. Сергач, ты пойдешь справа, — приказывал Иргаш, ставя боевую задачу. — И действуй не так себе — решительно! Если тот волосатик выскочит, не бойся, кидайся ему под ноги. Он упадет и растянется, как

лягушка. Ты, Саидка, немножко влево возьмешь, но от меня далеко не удаляйся. Понял? Увидишь того — прыгай ему на загривок и хватай за шею. Самое больное место — чуть пониже ушей. Дави изо всей силы. Понял?

Саидка вспомнил, как на него прыгнул Ромка, именно так и приказывает ему поступать Иргаш. Лицо его сперва побледнело, а потом налилось гранатовым соком. Он поглядел на свои маленькие грязные руки и должно быть без воодушевления представил, как они вопьются в мощную, точно пень чинары, шею Гузархана-хальфы.

— Задача понятна? — Иргаш поправил на голове фуражку.

— Понятно. Ага, — едва слышно пролепетал Саидка. Федя ничего не сказал, только кивнул головой: мне давно все понятно.

— При-готовиться! Начина-аем!...

Иргаш вскинул винтовку и выстрелил. Сухие метелки камыша вздрогнули. В стороне, хлопая крыльями, поднялась птица. А там, на бугре, который приготовились штурмовать ребята, послышался злой и негодующий крик. Иргаша точно подхлестнули пастушьим бичом, он поднял еще выше винтовку и закричал:

— А-а-а!.. За мно-о-ой!..

Федя и Саидка с черными, перекошенными от крика ртами бежали, повинуясь командирской воле. Но как только они выскочили на бугор, атака их неожиданно захлебнулась. Возле испестренного заплатами шатра стояли дед Тургунбай и Душанба. Дед заругался и погрозил палкой. Возле Душанбы стоял на коленях человек и прижимал к голой груди петуха. Это был не Гузархан, а Рауф-хальфа.

Однако Иргаш — его точно ослепила вспышка молнии — пробежал мимо. И если бы дед не отступил в сторону, Иргаш, в пылу атаки, свалил бы его с ног.

— А-а-а-а!.. — кричал он, не жалея глотки.

Не задерживаясь и секунды на бугре, ребята скатились вниз, на его противоположную сторону. Саидка, пробегая мимо шатра, успел заглянуть в него и теперь тоже кричал во весь голос:

— В земля-я-янку-у!..

Но землянка оказалась необитаемой. Напрасно Саидка раскидывал слежавшийся камыш — Ромки там не было.

— Что будем делать? — уже как-то виновато произнес он.

Прогремел еще один выстрел.

— Зачем жжешь патроны, бездельник! — это кричал Тургунбай. — Зачем на воздух стреляешь, негодник! Давай сюда винтовку!..

Но Ирпаш как не слышал. Ромка! Где ты? Откликнись! — казалось, кричали его обезумевшие глаза. Взмахнув винтовкой, Иргаш скомандовал:

— За мной! Сейчас узнаем!..

Он как коршун налетел на Рауфа-хальфу, который стоял в молитвенной позе лицом к востоку.

— Куда Ромку девали?! — закричал он и направил на старика винтовку. — Сознавайтесь, пока не поздно!..

Только тут Душанба понял, что они с Тургунбаем не знали и так и не узнали главного.

— Отвечайте, Рауф-хальфа, — сказал Душанба сдержанно, но строго. — Где мальчик? Куда вы его девали?!

Хальфа молился, воздев к небу руки. Его, кажется, ничего больше не интересовало в этом мире. «Отвечайте»! — слышал он голос Алихана. Да, да, он не ошибся, это был его голос, только в нем уже не было той сладкозвучности и лакейской покорности, как прежде. Он звучал сейчас твердо и сильно. Даже в ушах ломило от этого голоса.

— Отвечайте!..

Рауф-хальфа кончил молитву, уголком прищуренного глаза взглянул на окружавших его людей и зарыдал, сморщив и без того дряблые щеки. Но слез не было. Как можно плакать без слез, удивился Иргаш. Может, он не плачет, а смеется? И вдруг хальфа запрокинул косматую голову и захохотал как-то визгливо и неприятно. Душанба махнул рукой.

— Старый обманщик! Кого вы хотите обмануть? Перед вами стою я, воскресший из мертвых Алихан-хальфа! — свое имя он произнес громко и с той важностью, с какой обычно духовники называют друг друга. — Вы сомневаетесь? Откройте глаза и поглядите: я стою перед вами! Не желаете? Тем хуже для вас... — и уже тихо, только для своих спутников, добавил: — Ничего не скажет, пустой разговор...

Рауф-хальфа продолжал бесноваться, заглушая все своим сумасшедшим хохотом. Алихан толкнул его в бок и прикрикнул:

— Довольно, несчастный!..

Рауф-хальфа упал на землю и притих. Тургунбай, не говоря ни слова, вырвал из рук внука винтовку.

Ветер, налетевший с предгорий, вытеснил с острова туман, обнажив его овраги и впадины, заросшие бурьяном и колючим кустарником. Туман недвижимо лежал теперь только над гиблыми топями Ажал-балчика, словно служил пушистым укрытием неведомых сокровищ его. Люди уронили шатер дервишей, забрали пленника и покинули остров.

— Дедушка, как вы попали сюда? — спросил Иргаш, стараясь не отставать от деда.

— Не думай, что ты один такой умник на всем белом свете. — Губы его все еще сердито кривились, а глаза хмурились. — Другие тоже кое-что соображают, если на плечах у них не тыква, а голова. Если вам, бездельникам, попала в руки моя винтовка — вы самые храбрые и победа уже сидит у вас в кармане? Ошибаетесь! Кроме винтовки, человеку подобает иметь светлый разум.

— А почему один вам попался? — не очень прислушиваясь к незлобному бормотанию деда, допытывался Иргаш.

— Стрельбы пустой мы не открывали, — все так же продолжал Тургунбай. — Стрельба нужна только круглым дуракам и трусам. Захватить всех — такой задачи у нас не было. Мы опоздали немного. А этот старый пес не сумел удрать. Ишака ему не досталось. Всех расхватали... — Тургунбай покачал головой. — Вот так бывает. А за винтовку, за то, что ты утащил ее без спроса, как последний вор, тебе еще будет. Бесстыдник...

Иргаш думал о другом. Что с Ромкой? Где он?..

ПОБЕГ

Этот серый осел с бурой крестовиной на холке, протянувшейся далее по хребту до репицы хвоста, никогда, наверно, за всю свою ослиную жизнь не бегал еще с такой прытью. То он вдруг вскидывал задком, точно необъезженный степной скакун, то высоко, по-козьи, подпрыгивал и при этом так неожиданно круто подгибал голову, что всадник едва удерживался на его спине. Этим смелым всадником был Роман Пак. Вцепившись мертвой хваткой в веревочный недоуздок, он так врубился в бока скакуна, что будь этот невзрачный



ишак сказочно легконогой ланью — и ей не удалось бы скинуть с себя лихого наездника. Ворвавшись на главную кишлачную улицу, он ошалело начал метаться из одного проулка в другой, распугивая не только глупых кур и индюшек, но и степенных стариков, чинно сидевших в чайхане над арыком. У парадного крыльца, над которым висела вывеска с единственным словом «Милиция», Роман наконец осадил скакуна и беспомощно свалился на землю. Свалился и... заплакал.

— Вот это джигит! — воскликнул милиционер, дежуривший у подъезда, и подбежал к Роману. — Что случилось, сынок? Почему плачешь?

— Нога... больно, — кусая губы, выговорил Роман.

— Тогда, дорогой, ты спутал адрес: тебе надо в больницу, а здесь милиция.

— Вот сюда мне и надо... — Милиционер помог Роману подняться на ноги. — Я целую банду «волосатых ишанов» нашел. В больницу, да?

Милиционер понимающе ухмыльнулся.

— Рановато заявился, уважаемый, — милиционер поглядел на часы. — Утро только начинается.

— Только начинается?

— Так точно.

Вгорячах Роман и не заметил, что всюду еще лежали плотные тени, было прохладно, а на улицах, кроме стариков и редких прохожих, никого не было.

— Не ручаюсь, что сумею помочь тебе, но пойдем, попробуем, если сможешь идти.

Поддерживая больную ногу рукой, Роман поковылял за милиционером. В глубине темного коридора, пропахшего сапожной мазью и конскими хомутами, милиционер стукнул бурым от табачной копоти пальцем в дверь и, приоткрыв ее, спросил:

— Не спите, товарищ Саитбаев? Вот посетитель тут...

За дверью послышался свежий голос. Милиционер слегка подтолкнул к двери Романа и тихо сказал:

— Оперуполномоченный товарищ Саитбаев нечасто бывает здесь. Его контора в городе. Тебе повезло, джигит. Желаю удачи...

Поначалу Роман даже растерялся: в комнате ничего не было, кроме просторного стола, двух табуреток да дивана, на котором лежала свернутая трубой постель. «Разве бывают такие кабинеты у самых больших начальников? Чулан какой-то, — подумал Роман. — Милиционеру бари-бир, толкнул для смеху...» Но эта мысль тотчас угасла, как только он увидел человека, стоявшего возле окна.

— Ну и конь у тебя, — приветливо улыбнулся он. — Что ты сделал с ним, если он до сих пор еще бегает по двору, задравши хвост?

— Ничего не делал, — смутился Роман. — Сам понимает, когда торопиться надо.

— О-о, какой он у тебя умный. Не ты ли его так воспитал?

— Н-нет, — покачал головой Роман. Подумал минуту и решил, что здесь надо говорить серьезно, ничего не утаивать и не привирать: перед ним не дружки-приятели, а посторонний человек с незнакомым и загадочным званием — опер-упол-номочен-ный! — Чужой этот ишак. Я его у «волосатых ишанов» украл.

— Ук-рал?! Инте-ре-сно, — удивился откровенному признанию Саитбаев. — А знаешь, что бывает за конокрадство?

— Тюрьма... Зовут меня Роман Пак.

— Очень приятно познакомиться, товарищ Роман Пак! — и опять широкая и доброжелательная улыбка озарила лицо Саитбаева. — Тогда давай все по порядочку, Роман, — предложил он.

Роман подсел к столу, неловко вытянул ногу, заскрежетав зубами от остро пронзившей боли. Но что надо рассказывать, да еще по порядку — этого он пока еще не обдумал, и потому смущенно поглядывал то на опер-упол-номо-чен-ного, то на свои давно не мытые, пропахшие ослиным потом руки. Заметив неловкость и замешательство мальчика, Саитбаев спросил:

— Ну и как же ты узнал, что этот легконогий ишак — частная собственность волосатых дервишей?

— А я сам был у них.

— В гостях?!

— Нет. Случайно, — вздохнул Роман. — Ногу повредил. В общем... — Ему захотелось как-то незаметно обойти начало своего необычного приключения и главное — не вмешивать в эту историю Саидку. Упоминание о нем, как он предполагал, может только запутать и усложнить все дело, поскольку нападение было совершено не Саидкой, а «другой стороной». — В общем, был в тугаях и повредил ногу. Зашиб немножко. Потом нашел развалюху, землянку такую. Туда привел меня один мальчишка. Я хорошо устроился в этой развалюхе и решил обождать, чтобы нога немножко... А тут, оказывается, — «волосатые»! Ночью они собрались и такой базар устроили — ужас! И главного видел. Только он не такой, как все, — без волос. Зовут его Мадарипишан. И еще кое-что про него знаю.

— А где в это время находился тот добрый мальчишка, который привел тебя в «развалюху»? — спросил Саитбаев.

— Он... Он еще днем убежал, чтобы ребятам нашим сказать... Ну, чтобы они выручили меня...

— Хм, выручили? Интересно.

— Ага.

— Но выручают тех, кому угрожает опасность. А тебе, насколько я понимаю, никто не угрожал, «волосатые» за тобой не гнались. Верно?

— Правильно, —сконфуженно промолвил Роман. — Смешался немножко...

— А мальчишка — Саидкой его зовут, так, кажется?

— Вы знаете?!

— Плохой бы из меня был оперуполномоченный, если бы я не умел узнавать.

— Вот здорово, угадали: Саидкой... Ну, ждать его я не стал. Долго сильно. А потом, придет или нет — то-

же вопрос, — продолжал Роман уже не так бойко. — Возле землянки, где я хорошо забаррикадировался, ишаки паслись. Ихние, «волосатские». Подкрался я к серому и — на него! А волосатики даже и не заметили, они, наверное, крепко умучились — бесились и орали долго, — спали вовсю. Сперва я тихонько ехал, чтобы... а уж потом дал чертей этому иноходцу...

Саитбаев старался не выказать своей заинтересованности в том, что рассказывал Роман, но когда он улавливал из этого рассказа что-нибудь новое, глаза его загорались любопытством, так и хотелось прервать бестолковый мальчишеский рассказ и спросить о другом, более для него существенном.

— Все хорошо, Роман, все интересно, — Саитбаев вытянул под столом длинные ноги в остроносых ботинках. — Рассказываешь ты увлекательно, умело, и я бы сказал — захватывающе. Как в кино, правда? Ну а от меня что ты хочешь услышать?

— Что? Теперь я знаю, где они... Пойдемте со мной — сами все увидите. А потом... — Роман по-мальчишески озорновато погладил грудь, где, по его убеждению, должны красоваться ордена и медали, и вздохнул, как будто все уже было решено. — Заарестуете всех, и бари-бир...

— Ого! Оказывается, ты, братец, разбираешься и в таких сложных делах. Не знал. Бари-бир, говоришь?

— А чего на них глядеть?

— Правильно, глядеть на них нечего. Они не произведения искусства, не так ли? Ну а арестовать — есть за что? Тебя они, кажется, не тронули. Или, может, ты скрываешь от меня что-то?

Роман отрицательно покачал головой.

— Ну вот видишь. Военной тайны они вроде не воровали. А может, тебе известно лучше, чем мне?..

— Насчет военной тайны не замечал, — промолвил Роман. Тягостная минута молчания затянулась. И все потому, что Саитбаеву пришлось сказать Роману то же, что он совсем недавно сказал Тургунбаю, — других объяснений у него просто не было. Сейчас он не только догадывался, но, кажется, и видел, что творилось на душе у мальчишки, бог знает с каким трудом добравшимся сюда, чтобы раскрыть свою тайну.

— А насчет твоего приглашения побывать у ишанов, — с грустной усмешкой продолжал Саитбаев, — идея заманчивая и немножко страшноватая. Но с боль-

шой охотой побродил бы с тобой по тугаям, побывал бы на Гиблом болоте. Но... начальство у меня очень строгое, Роман. Чуть отвлечешься от своих прямых обязанностей — и, глядишь, какой-нибудь выговор тебе пожалуют. А выговор — не орден. Зачем он мне?

— Плохое у вас начальство.

— Начальство есть начальство, нам его выбирать не положено — оно выбирает нас. Так уж заведено.

— Товарищ начальник. Нет — оперуполномоченный! — поправился Роман. — Просьба есть: можно мне в Корейскую Народно-Демократическую поехать?

— В Корейскую?! — удивленно проговорил Саитбаев. — Но ты, надеюсь, понимаешь, что здесь не бюро по туризму и экскурсиям, а...

— Так мне ведь не путешествовать, а по делу!

— Ну тогда не знаю, как помочь тебе, товарищ Роман. Ты уже обращался к кому-нибудь с таким делом?

— В «Пионерку» письмо написал.

— Понятно. Я так и думал. Правильно ты поступил, а теперь ничего другого не остается, как ждать, что ответит тебе «Пионерская правда».

И этот ответ Саитбаева тоже не понравился Роману, он даже огорчил его. Зажав в коленях сложенные вместе ладони, Роман печально глядел на серую от пыли зелень, лезшую в раскрытое окно, на стайку мух, повисшую над гроздью винограда. Неважно он чувствовал себя в эти минуты. Так неважно, словно из-под ног его ушла почва и исчезла тропинка, по которой он шел к верной цели своей жизни. Простора, какой всегда манил его к подвигу, перед ним уже не было. Саитбаев встал из-за стола и подошел к Роману.

— Брось переживать! — сказал он так, как говорят с ним Иргаш или Федя Сергач, слегка похлопал по плечу. — Страшного ничего не случилось. Ты — смелый и честный парень, Роман, а смелость — она пригодится в жизни, ты ее береги, на пустяки всякие не расходуй... А вот насчет «волосатых», — Саитбаев чуточку помешкал, подумал и решился: — Насчет «волосатых» я кое-что скажу тебе: не горячись. Как я догадываюсь, ты собираешься стать разведчиком, а разведчику горячиться строго-настрого запрещается. Терпение и выдержка — самое главное. И ходить к ним больше не надо. Знаешь, когда собаку задорят —она кидается и покусать может. Понял?

— Немножко понял.

— Вот и хорошо. Я верю тебе, Роман, — он потрепал его жесткие, забитые песком смолисто-черные волосы и, улыбнувшись, спросил: — Сам доберешься до дома или тебя подвезти? Конечно, не на твоем скакуне — на дворе мотоцикл мой стоит. А может, в больницу тебя?

— Нет. У меня больше ничего не болит. Дойду. Мне близко, — ответил он и, преодолевая боль в ноге — она все еще не унималась, — шагнул к двери.

«ЗАКОНОМ АЛЛАХА»

«Волосатые» не сразу оправились от испуга. Неожиданный налет «поганых кяфиров» на становище раскидал их по тугаям. Такое может случиться только как возмездие за великий грех перед всевышним, думали они, с проклятием и с болью покидая обжитое место. Тугаи и почти неодолимые топи Ажал-балчика больше не спасали их от людей. Мадарип-ишан повелел найти новое прибежище. И местом таким оказался чахлый родник, скрытый в каменистых предгорьях. Возле этого родничка и заночевал Мадарип-ишан в пятую ночь после бегства с болотного острова. На Рохиб-чашме — так называлось это место — не было деревьев, какие росли в тугаях, не было прохлады, какую давали тень и близость болота, зато здесь было все, что нужно для отшельничества и покоя. Оранжевые, точно возле Мекки, холмы, красные пески пустыни, редкий колючий кустарник и главное — безграничный обзор местности на случай новой встречи с врагами. У самого ключа зеленым пятном прилипла куртинка корявого тальника, спутанного ежевикой. Из красной земли упорно торчал куст боярышника, обвязанный пестрыми тряпками. Тряпки — это молитвенная жертва женщин-бесплодниц, посетивших ключ. Здесь никогда не хмурится небо — оно всегда чистое и белое от изнуряющего зноя. Дождь — редкость в этих забытых аллахом местах. Зимой жестокий ветер поднимает кроваво-красную бурю; по ущелью она рвется в долину, к селениям и редким кошарам. И всего-то отрадного здесь — родничок, его вода, чистая, как небо, и такая студеная, что, когда утомленный пастух припадает к ней спекшимися губами, зубы его немеют от холода. Не раз в своей жизни Мадарип-ишан вра-

чевал водой из Рохиб-чашмы басмачьи раны. Доверчивым же почитателям он рассказывал, что вода эта совсем не из Рохиб-чашмы, а из божественного колодца Зем-зем, которым пользовался сам пророк Мухаммед, когда его одолевал недуг. Святая вода исцелит правоверного, пусть только он поверит в ее божественную чистоту. А когда раненые басмачи сгорали в гангренозной горячке, он молитвенно разводил руками и говорил: «Так было угодно аллаху, правоверные! Не надо роптать — грех! Воздадим должное творцу нашему и тем укрепим веру в святое дело».

...Мадарип-ишан сидел на кошме и задумчиво глядел, как из-под гладкого, точно буйволиный череп, камня кудрявой струей пульсировал родничок, как кружились в вечном хороводе золотистые песчинки. О чем он думал? Тут же сидели и его ближайшие последователи. Они тоже молчали... С некоторых пор Гузархан-хальфа стал замечать, что неудачи — а они были всегда, такова уж судьба всех странников, — делали Мадарип-ишана беспомощным. В такие минуты он терял свое царственное величие и казался ничтожным и жалким, как все бродяги. Годы — ох эти годы! Они отбирают у человека не только силу, но и радость, а взамен дают ему зависть и телесную немощь. Так думал Гузархан-хальфа, поближе подсаживаясь к ишану.

— Эх-хе, бедный Рауф-хальфа, сохрани и помилуй его аллах, — сказал он, вздыхая.

— Не печалься, придет, — молвил Мадарип-ишан, очнувшись от забытья.

— Не придет, ишан-ака, Рауфа-хальфу мы навсегда потеряли, — продолжал Гузархан. — Своими глазами видел, как горячо он молился. Не помогла его молитва.

Ишан поднял на хальфу холодный взгляд.

— Да, да, его схватили, эти шайтаны пытались отнять у него петуха — он не отдал...

Гузархан зачерпнул тюбетейкой воды из ключа и долго пил короткими, обжигающими глотками. Утолив жажду, напялил на голову мокрую тюбетейку и крякнул.

— Все видел, — продолжал он, устремив суровый взгляд на Муслима-дивону, самозабвенно дравшего ногтями косматую голову. — Там был Тургунбай с мальчишками. Они никогда бы не догадались появиться на болоте, если бы даже внушил им такую мысль сам дьявол. С ними был Алихан-хальфа и... С-саидка, — гнев

так сдавил глотку ему, что он едва выговорил последнее слово. — Они привели врагов в наш дом.

Дервиши поднялись. Муслим-дивона откинул назад спутанные, как лошадиная грива, космы. Никому бы он не поверил, что его сын, его поводырь и верный раб пира, умеющий читать святая святых — Коран, стал предателем? Служит кяфирам? Не может такого быть. Нет! Нет! Нет!..

— О-о, жалкие изменники! — прохрипел Мадарип-ишан, воздев к небу руки. Дряблые щеки его побагровели, морщины расправились. — Велик и един аллах. Велик и силен Мухаммед, пророк его, — заворчал он, припав к земле головою. — Пророк был беспощаден к своим врагам. Но кто осмелится сказать, что он поступал несправедливо? Он мстил вероотступникам и неверным, но был безгрешен...

— Ядовитой змее отрубают голову, чтобы она не укусила, — мрачно заметил Гузархан-хальфа.

— А?.. Что ты хотел сказать? — ишан уставил на хальфу затуманенные слезой глаза.

— Судить законом аллаха, ишан-ака. Судить! — вскрикнул Гузархан и затряс над головою большими черными кулаками.

Муслим-дивона будто все еще не понимал, к чему призывает Гузархан: то по привычке глупо улыбался, то хмурился. Он ждал чего-то еще. А Мадарип-ишан упрямо глядел на него и тоже ждал.

— Предательство — великий грех, его не прощает аллах, — наконец произнес ишан. — Искупление ему — смерть! Да будет так.

— Смерть! — вскрикнул старый и сухой, как мумия, Гияс.

— Смерть! — повторил Гузархан-хальфа.

— Сме-е-ерть! — истерично взвизгнул Муслим-дивона.

Угловатое лицо его, заросшее до самых глаз волосами, перекосил страх. Он вскочил и побежал прочь от святого ключа. Бежал и кричал что-то бесконечное и сумбурное. Мадарип-ишан по-прежнему сидел на своем месте, устремив взгляд на камень, из-под которого бил родник, и словно бы одним ухом прислушивался к тягучему отзвуку эха, замирающему где-то в горах. Гузархан-хальфа молча поднялся, сел на ишака и поехал вслед за Муслимом.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Роман еще спал, а возле калитки уже собрались ребята. Вышла Ромкина мать с ведрами в руках, обрадованно сказала:

— А-а, дружки-приятели прибежали. Ждать вам придется до вечера. Он любит поваляться, а сегодня — причина уважительная: нога болит, он и вовсе целый день может проваляться. Идите уж, поднимайте его, засоню.

— Вот здорово! Пришли? Так рано? — протирая совсем утонувшие в косых прорезях глаза и подпихивая под себя одеяло, радостно бормотал Роман. — Хорошо, что пришли. Правильно сделали...

— А чего не дождался нас? — спросил Иргаш. — Мы всю ночь по болоту бродили, искали.

— Вы были там?!

— А то как же, — сказал Федя. — Ты попал в беду, втюрился, можно сказать, а нам, думаешь, наплевать на все?

— Зачем не стал ждать? — с запоздалой обидой спросил Саидка. — Я слово давал: приду, выручать будем. Зачем не ждал?

Роман виновато ухмылялся. Слушать такие «упреки» сейчас, когда все уже позади, даже приятно: оказывается, ребята не только простили его — они готовы были вырвать своего друга из страшной беды. Но Ромкины глаза опять уже блестели росистой свежестью и, казалось, спрашивали: в чем же я виноват перед вами, пацаны? В том, что убежал от «волосатых», когда подвернулась возможность? Но ведь и вы на моем месте поступили бы так же. О чем же тогда говорить?

— У нас план был напасть на «волосатых» с флангов, — объяснял Иргаш. — Поднять панику в их лагере и воспользоваться... Не успели немного. Уснули в самый момент, а дедушка Тургунбай и Душанба в это время атаковали их. Они разбежались.

— Разбежались?!

— А ты не знаешь?

— Они спали, когда я...

Роман уселся на край кровати и стал рассказывать:

— Почти всю ночь прыгали, чертей гоняли. Потом болтали всякое: сказки про аллаха и пророка. А на костре варилась жирнющая шурпа. Такая вкусная, ух!..

— Ты и шурпу у них отведывал?

— Смеешься, Сергач! — Ромка печально пошмыгал носом и отвернулся к окну. — Чуть не подох. В животе такой шурум-бурум начался: никогда еще так жрать не хотелось. А от шурпы — луком и вареным мясом... Слюни текут, как у собаки, а шею, вот это место, — показал он рукой, — в узел стало стягивать. Судорога. Сколько дней — кусок лепешки и вода. А они, как назло, расселись недалеко от меня и лопают. Наверно, сознание я потерял. В общем, не помню. Поглядел — их нет: под шатер убрались, и костер потух, только пепел белел немножко. Я бы не ушел, сидел бы в той землянке и ждал, как уговорились с Саидкой. Ишаки подошли, пощипывают травку недалеко от меня. А косматые храпят и храпят, как свиньи. Один ишак чуть в мою землянку не забрался. Я затаился, а потом — цап его за челку! Он вырываться, башкой мотает, но вс-се: я уже на спине у него.

— А нога? — спросил Саидка.

— Чего — нога? — не понял Роман. — А-а, барибир! Какая нога, все забыл и боли не чуял. Вцепился в ишака и айда! Ну и давал же ему прикурить! Палку успел прихватить с сучком... — Он передохнул, пощипал кончик широкого носа. — Потом, знаете, куда я поехал? Нет, не домой! — и стал говорить с еще большим воодушевлением.

Ребята слушали и, конечно, завидовали, однако сидели смирно, точно все еще не верили, что перед ними наконец сидел Ромка — их дружок и самый большой выдумщик. Он так разговорился и, конечно, чуть-чуть привирал — самую малость; но сейчас можно было простить ему эту безобидную увлеченность.

— Всю ночь скакал, — продолжал Роман, не замечая, с какой выразительной легкостью работали его руки, помогая подчеркнуть какую-нибудь важную деталь рассказа. — Не увидел, когда и через тугаи промчался. Когда колючки царапали — было не больно. Этот серый ишак, как конек-горбунок, только без крыльев.

— О деле говори, чего про ишака завел, — не вытерпел Федя.

— Ага, сейчас... — спохватился Роман. — В милицию я на нем прискакал. Точно, прямо в милицию!

Вот этого уже никто из ребят не ожидал. Саидка даже в лице переменился. Его всегда пугали милицией, особенно много всего страшного рассказывал ему о милиции Мадарип-ишан. Иргаш немного отодвинулся от

Ромки, точно хотел разглядеть его с расстояния. А Ромка, помогая себе руками, еще более воодушевлялся:

— Только не в саму милицию я заявился. Повыше! Туда, где самыми секретнейшими делами занимаются — политическими, военными и всякими другими. И сидит там у них всего один человек. О-пер-у-пол-номочен-ный! Катта* начальник. Погонов и орденов не носит, ходит в гражданке. Я его, оказывается, хорошо знаю, и вы его знаете — он на черном ИЖе всегда катается. А живет он не в Ашлаке, в Маргилане, а может, даже и в самой Фергане — точно не знаю. Рассказал ему все до капельки, а он ни разу не перебил меня. Слушал. Только несколько раз покачал головой вот так и сказал: «Да, Роман, ты очень и очень смелый парень. Бесстрашный». Правда. В общем, хвалил, наверно, для того, чтобы меня эдак... — Он сделал неопределенный жест рукой и, передохнув, закончил уже другим тоном: — Будешь смелым, когда в такую шурпу влопаешься. Вот Саидка — он настоящий герой!

Саидка покраснел и наклонил голову.

— Неправильно говорю? Все точно. Если бы не Саидка — хана, кончай молодую жизнь Ромка. Они бы растерзали меня, как волки. Им что? Бари-бир!.. Когда я рассказал про них, начальник немножко записывал. А напоследок сказал: «Спасибо, Роман. Хорошо, что зашел ко мне. Никогда тебя не забуду. А в этом деле разбираться будем, не беспокойся».

— А чего разбираться? — спросил Федя. — Все разобрано: переловить всех, и пусть судят их.

— И я так же думаю, а вот оперуполномоченный — он по-другому рассуждает, у него совсем другое мнение.

— Душанба и дедушка Тургунбай одного поймали, — сказал Иргаш. — С петухом который — попался.

— Они были там?!

— Чудак ты, Ромка! Совсем чокнутый стал. Я тебе говорю: не мы разогнали их, а дедушка с Душанбой, — сердясь, сказал Иргаш.

— Понятно. А старика этого с петухом я знаю. Он такой мастер врать — уши вянут. Я чуть не подрался с ним. А Саидка говорит, что неплохой старикан, хотя и «волосатый». Куда его девали?

— В Коканд отправили, — сказал Федя. — Его сперва врач должен осмотреть, может, он псих какой или заразный, а потом уже решать станут, что с ним делать.

— Чего с ними делать? В тюрьму их всех, гамузом... А тот оперуполномоченный — хороший дядька, — вспомнил Роман, — по-товарищески беседовал со мной. Ну, в общем, душевный человек, а напоследок сказал: «В Корею поедешь обязательно. Для тебя, Роман, это очень и очень необходимо, и для тамошней революции тоже. Только не торопись, немножко обождать надо».

— А мой дедушка обещал взбучку дать мне хорошую. За винтовку, за то, что утащил ее, — сказал Иргаш как бы для того, чтобы погасить вспышку Ромкиного воображения.

— У тебя винтовка была?!

— Ага. Нас три человека было: Саидка, Сергач и я.

— Вам-то хорошо, а у меня даже ножика не было.

— Дедушка все равно бить не станет. Забудет, — уже весело сказал Иргаш.

Они говорили каждый о своем. Федя ухмылялся и помалкивал: он-то догадывался, что Иргаш взялся перешибить Ромку. Не любит Генерал, когда Ромка сильно себя выставляет. Но спорить с ним в открытую — это сейчас совсем ни к чему. Что ни говори, а он там хлебнул страху. Пусть немного отойдет и одумается, потом сам все поймет. А Саидка вообще не знал, о чем говорить. Он пока только приглядывался да прислушивался, да еще думал о том, как теперь ему жить на свете, когда тропинку, по которой он ходил в этой жизни, разорвала пропасть, и, чтобы обойти эту пропасть, нужно идти и идти, как до седьмого неба, о котором часто говорят странники.

ВОТ ОНА, НЕОЖИДАННОСТЬ!

Закончив разговор с Романом, Алимджан Саитбаев помчался в Фергану. Он еще вчера должен был съездить туда, но задержали дела. В Маргилане, что лежит на его пути, он не останавливался. Однако возле базара, там, где шоссе круто поворачивает на Алты-арык и Коканд, где обычно сидят люди и ждут автобуса или попутной машины, он мельком увидел Тургунбая, сидевшего с каким-то стариком, который прижимал к груди петуха. Рядом с ними, прислонившись спиной к стволу тополя, стоял кишлачный доктор Мирзакул. Саитбаева будто обожгло что-то, сбавив шумный бег мотоцикла, он приткнулся было колесом к кромке дороги, но тот-



час же прибавил газу, и мотоцикл его заревел, удаляясь от перекрестка.

Тургунбай, заметив мгновенное замешательство Саитбаева, подумал: «Э-э, хотел остановиться, поговорить... Стыдно стало, что старик его работу делает. Укатил...»

Начальника своего Саитбаев не застал. Секретарь — немолодая, с волевым лицом женщина встретила его оживленно.

— Алимджан-ака, вас ждет почта! Важная и срочная почта, и я не могу задерживать ее у себя. Получите, пожалуйста...

Усевшись за стол, Саитбаев уткнулся в объемистую потертую папку. Первое, что попало ему на глаза, — документ с четким типографским штампом. В этой бумаге, поступившей из центра, было написано о жизни и смерти курбаши Курирмата — одноглазого ферганского разбойника, который вместе с остатками своей банды некогда был вышвырнут за пределы страны. Хозяева Курирмата — англичане поселили его тогда еще в своей колонии — Пакистане. Там он и жил, коптил чужое небо, пока непутевая жизнь его не оборвалась под копытами арабского скакуна. Не признал благородный

конь в Курирмате достойного наездника — строптиво взбрыкнул и отмахнул коваными копытами. А много ли старому и жестоко битому басмачу надо?!

Однако день кончины Курирмата, хотя и бесславный, был обставлен по строгому ритуалу: возле правоверного собрались и духовники, и табибы, и душеприказчики. Курирмат отпустил грехи всем врагам своим. Попросил поставить на его могиле приличный мазар*. А еще изъявил желание, чтобы хранителем мазара был назначен благочестивейший из благочестивых Ариф-ишан. Это — самое трудное, что придумал Курирмат. Ариф-ишан живет не в исламском государстве Пакистан, а в Советском Узбекистане и по воле судьбы давно носит другое имя. Но Курирмат и слушать не хотел, повелел, как наиважнейшее условие своего завещания: доставить ишана сюда и определить на должность. Душеприказчики Курирмата понимали свою задачу с предельной ясностью: воля расстающегося с жизнью да будет свята. Исполнение последней воли басмача было поручено еще не очень старому юзбаши*, проживавшему в последние годы в Пешаваре. В циркуляре, который с таким вниманием читал Саитбаев, на всякий случай указывались приметы пешаварца, его старые связи среди жителей Ферганской долины и кое-что из того, что важно было знать только Саитбаеву. Говорилось в том сообщении еще и о том, что Курирмат завещал своему посланнику распорядиться личным имуществом, хранителем которого он когда-то назначил все того же Ариф-ишана. И самое последнее, что больше всего озадачило Саитбаева, — приписка в конце документа: пешаварец Хаджиусман, совершив паломничество на мусульманскую святыню, исчез. Недалеко от этой мусульманской святыни вскоре была нарушена граница СССР. Поиски нарушителей в пограничной полосе результатов не дали.

— Вот тебе и пешаварец Хаджиусман: добрел до границы, вспорхнул и, как старик Хоттабыч, помахал ручкой... — тихо проговорил Саитбаев. — Вполне возможно, что этакий паломник или дервиш уже гостит где-то у нас. Попробуй разгадай его, черта...

Впрочем, нового в этом ничего не было. Ведь укрывались же некогда отъявленные разбойники под паранджой, которой, по велению пророка, должны укрываться от недобрых глаз только женщины. Под дервишским колпаком скрывались в свое время не только

басмачи и оголтелые националисты. Грязное рубище нищего дервиша знавало и холеные плечи такого важного джентльмена, каким остался в истории полковник королевской службы Бейли. Не так уж неприметен мохнатый колпак в наше время, но что поделаешь, если воображение разведчика не родило ничего более подходящего, а заматерелая злоба помешала рассудку прибегнуть к выбору. А уж если серьезно — не пойдет же он в этом наряде с государственным визитом в Совет Министров республики? Пойдет к таким же, как и сам... Саитбаев трезво оценил трудности и помехи, какие могут возникнуть в самых неожиданных обстоятельствах. И вот то, что сегодня он мимоходом заметил на перекрестке, серьезно обеспокоило его.

— Черт возьми! Если бывают случайности, то как назвать это?.. Неужели промах?..

Почему-то захотелось поскорее выйти из помещения на воздух. Он вспомнил учителя Джуру Насырова и пожалел, что того все еще нет дома. Потом в мыслях его опять промелькнули Тургунбай и старик с петухом на перекрестке. Раздраженно поморщившись, он принялся куда-то звонить по телефону. Справился о расписании поездов и еще о какой-то санаторной путевке и ее сроке. Повесил трубку и заторопился: надо было ехать в Коканд. Сейчас же, не откладывая ни на минуту.

НЕРВЫ ГУЗАРХАНА СДАЮТ

Отпустив ишака возле старой мельницы, он долго сидел, уронив на колени тяжелую голову. Поднялся, как от испуга — быстро, нахлобучил на глаза шапку и пошел, загребая босыми ногами пыль. По селению, как всегда, он шел, чуть подпрыгивая, оборачивал назад голову и, круто сгибая шею, разглядывал пятки, будто читал по ним какую-нибудь только ему известную историю.

Под вечер Гузархан зашел в чайхану. Он решил переночевать здесь и терпеливо ждал, когда разойдутся по домам чаевники, взирая на них налитыми безумием глазами. Ему нужен был чайханщик Урунбай — давний мюрид Мадарип-ишана, за ним и следил сейчас Гузархан. Урунбай тоже заметил гостя и время от времени кидал в его сторону сдержанный, далеко не радостный взгляд.



Чаевники расходились не спеша и без желания: что может быть приятнее чайханы?! Душеспасительное заведение: сиди, пей чай, думай о своих делах и безделицах, а не хочешь — можно и не думать. Можно свернуться калачиком на камышовой циновке или на пыльном паласе и блаженно уснуть. Никто здесь тебя не потревожит, никто не посмеет отказать тебе в таком скромном удовольствии. Чайханщик заберет свою небогатую выручку, закроет в сундук самовар и посуду и уйдет домой, а ты будешь спать и видеть чудесные сны. Гузархан очень любил чайхану и никогда не проходил мимо, если она попадалась на его пути: пиала кок-чая успокаивала разгоряченное тело, услаждала душу и освежала разум. Но сейчас Гузархан думал не о целебных свойствах кок-чая и не о сладких сновидениях под кровом чайханы. Едва дождавшись Урунбая с чайником и двумя пиалушками в руках, он спросил:

— Алихан-хальфа не заходит к вам?

— Нет, любезнейший, — ответил старик, усаживаясь против гостя. — А чего он позабыл у меня? У него работа.

Гневным скошенным взглядом Гузархан скользнул по лицу чайханщика и взял из его рук пиалу. Отхлебнул, обжигаясь.

— Неприветливый вы человек, Урунбай-ака, — с обидой заметил он. — О здоровье своего пира уже не спрашиваете? Не узнаю вас.

Старик, печально вздохнув, огладил бороду.

— Простите, хальфа-ака, старый стал, бестолковый совсем. А работы много. Люди не очень засиживаются, все куда-то спешат, у всех есть дело. Устаю очень.

— Мюрид не должен уставать в служении, — с укором сказал Гузархан. — Он дал клятву своему господину на всю жизнь. Не так ли?

— Так, так, ваша милость, правильно вы говорите.

— Даже тогда, когда высший долг обязывает его совершить недоброе дело, мюрид не смеет задумываться. Он всегда должен предвидеть даже смерть ради своего пира. Не могли же вы забыть об этом, Урунбай-ака?

— Такое не забывается, помню, — ответил старик. — Хорошо помню.

— А почему нет от вас добрых дел, Урунбай-ака: давно нет назира? Наш пир, хотя и святое лицо, но кушает он, как человек.

— Недостатки, уважаемый, сами должны понять, — виновато бормотал Урунбай, избегая встречаться с жестким взглядом Гузархана. — Сына недавно женил, дочка замуж вышла, двое еще учатся — везде деньги нужны. И по правде сказать — сколько я передавал вам и денег и всякого другого, а что имел за это? Одни неприятности. Даже спасибо никто не скажет.

Гузархан вытянул шею от удивления, он хотел было прикрикнуть на чайханщика, как поступал раньше, но Урунбай предупредил его, подняв руку.

— Чистую правду говорю, Гузархан-ака. Не надо обижаться. Теперь все люди работают. А про Алихана-хальфу что могу я сказать? Видел его раза два: в школьном саду работает. Живет там же, в худжре. Каждый день трудится. Может, и вас к делу пристроить? Вставайте на мое место, чайханщиком, а я в бригаду пойду, мне и там работа найдется. Нельзя бездельничать. От людей и от бога совестно.

— Что с вами, Урунбай-ака?! — воскликнул Гузархан, потерявший терпение. — Не узнаю! Может, вы кяфиром стали, веру другую приняли? А может, в партию поступили?

— Нет, уважаемый, я все тот же чайханщик Урунбай, каким меня знают люди добрую полсотню лет. И веры честного мусульманина не изменял. И в партию

не поступил... На жизнь глаза не закроешь, она нынче у всех на виду. А на Алихана-хальфу можете и вы поглядеть, если желание имеете.

— Только этого мне и не хватало,— Гузархан вскочил с места как ужаленный, ожесточенно выругался: — Будь проклят и ты вместе с Алиханом-предателем! Пусть отсохнет язык твой поганый, пусть гром поразит твою голову!..

Швырнул в угол разлетевшуюся на черепки пиалушку и убежал.

Шел он через пустынную базарную площадь и бормотал что-то ругательное и несвязное, но никто не обращал на него внимания, а редкие прохожие, что попадались навстречу, отступали в сторону. Часа два бродил он по селению, никого не искал и нигде не останавливался — шел как в бреду. А в узкие улицы уже заползала ночь, закрывала черным бархатом еще не остывшие стены дувалов и мазанок, приглушала звуки, усиливала запахи. Он шел, и кругом шла голова его, отяжелевшая от жестоких дум и от обиды...

Нет, далеко не сегодня заметил Гузархан, что некогда почитатели и верные люди ишана с некоторых пор почему-то становятся безразличными к тому, что говорят его хальфы, да и пира самого встречают уже без прежнего благолепия и покорности. Не все мюриды ведут себя так откровенно, как этот чайханщик: одни избегают встречаться, другие прикидываются глупцами и будто не догадываются, чего от них хотят, третьи молчат, соглашаются, но ничего не дают посланцам ишана. Гузархан-хальфа не был высоко образованным духовником, от философских рассуждений отцов ислама чаще всего его клонило ко сну, они его раздражали, и тогда он очертя голову бросался в ритуальный пляс. Читать он не любил и ленился. Да и зачем было утруждать себя чтением? Все ведь ясно: жизнь — страдание, и надо как можно горячее просить аллаха, чтобы он смягчил эти страдания хотя бы там... А вот как просить — это он усвоил отлично, даже Мадарип-ишан, нередко сомневавшийся в разумности поступков своего хальфы, и тот удивлялся умению Гузархана выворачивать себя наизнанку. Но теперь... Теперь Гузархану вдруг захотелось обернуться назад и чуть-чуть пофилософствовать. «На свете нет ничего вечного... Там, где раньше стоял город, — груды развалин, а там, где ютился малый кишлак, разросся огромный город. И люди в кишлаках

меняются, — думал Гузархан-хальфа, — а мы все те же... Проклятый Урунбай, это он растравил мою душу... Раньше эти люди были послушны и преданны, а теперь они готовы, кажется, переловить своих духовных наставников и отправить в милицию, как злостных бродяг и попрошаек, а еще хуже — затолкать их в сумасшедший дом, как самых последних идиотов. Неужели они забыли, что их когда-нибудь накажет аллах?.. Не-ет, они не забыли, не должны забыть, они перестают верить нам. А верить перестают потому, что перед ними нет ни чудес, ни таинственных загадок, ни страшных явлений — у людей своя обычная и простая жизнь. Ну а как же ишан-ака?.. Эх-хе, он ничего не может сказать им нового, ему нечем удивить их и заставить снова поверить ему. Люди забыли страх и почему-то считают себя счастливыми... Быть может, Алихан-хальфа тоже обрел свое счастье? Счастье? Вот ишан-ака ничего не желает знать этого...»

Целую ночь бродил он по неосвещенным кишлачным переулкам и думал. В его могучем теле будто что-то ослабло, надломилось, а вот что — у него не хватало ни смелости, ни ума, чтобы понять, и оттого он злился, ворчал и шел дальше. На него кидались собаки, и тогда он трусливо бежал или отбивался от них камнями. Его окликали ночные караульщики, но он не останавливался: брел, куда несли ноги, и, как в тревожном сне, бормотал. Брел, взбивая остывшую дорожную пыль босыми ногами, и бормотал...

Перед рассветом, измотанный бессонницей, Гузархан присел возле дерева и вдруг вздрогнул. Поднялся, ощупал под халатом нож. Ночь медленно таяла: можно было уже различить слабые очертания дувальных стен, уродливые култышки недавно обрубленного тутовника. Гузархан перелез через дувал, прислушался. Тихо. Цикады умолкли; летучие мыши, насытившись, разлетелись по темным углам. Для людей наступило время самого блаженного и крепкого сна. По-кошачьи крадучись, Гузархан пробрался в глубь сада, к едва заметному строению. Тревожно и неровно стучало сердце. «Никогда не дрожали так руки и ноги, а теперь удержу нет, — подумал Гузархан, стряхивая с лица пот. — Старость пришла? Болезнь?.. Мне не следовало заходить к Урунбаю. Глупый, пустой старик... Э, ничего не случится плохого. Сейчас прикончу этого поганого кяфира и заслужу еще одну похвалу».

Он припал ухом к стене. И опять это сердце — то стучит проклятое, рвется куда-то, а то предательски замирает. Ему показалось, что саманная стена неожиданно заговорила шершавым шепотом. Но то было всего лишь чье-то дыхание, доносившееся из глубины сарая. «Пусть эта убогая худжра станет последним местом нечестивца... Здесь будет его мазар, только никто не придет поклониться на могилу вероотступника...» Гузархану сделалось жарко, он скинул с плеч халат и вошел в черный провал в стене, служивший дверью. В нос бросились запахи сухих трав и вяленого урюка. Сарай был узкий и длинный. У стены громоздились ящики, снопы сухого камыша, садовые инструменты. Гузархан встал на четвереньки и пополз, стиснув в зубах нож.

В темноте сарая он ничего не видел, ясно слышалось лишь ровное посапывание. Оно-то и служило ему ориентиром. И вдруг в этой разомлевшей, пропахшей сухими травами и людским потом тишине твердо, но спокойно прозвучал голос:

— Я знал, Гузархан-хальфа, что вы придете ко мне.

Гузархан вздрогнул и выронил нож.

— Что вы молчите?..

А Гузархан так и стоял на четвереньках, чуть подавшись назад. Он не дышал, холодный пот ручьями расползался по телу, даже в глаза западали его жгучие капли.

— Подходите ближе, — звал голос Алихана. — Смелее подходите, если вы пришли за своим делом. Я давно жду вас, хальфа... Только предупреждаю: шуметь здесь нельзя. Со мной спят дети, — сказал он совсем тихо. — Они работали, устали и потому крепко спят; нельзя их тревожить.

— Дети?! У вас — дети? — чуть не задохнулся Гузархан.

— Да, де-ти.

— Кто дал вам детей, безбожник?

— Они сами нашли меня. Очень хорошие дети. Может, нам лучше выйти отсюда?

— Прокля-ятье!.. — надорванно прохрипел Гузархан. Он растерялся, привстал, пытаясь разглядеть что-то в темноте. Его била дрожь. — Дети... Выйти отсюда? Это вы предлагаете? Дети... — повторял он, как в бреду. Произошло что-то непоправимое и непонятное, точно святая и страшная тайна вдруг открылась перед ним в этой затхлой худжре. От бессилия и злобы мутился рас-

судок. Он поднял с пола свой нож, в это время кто-то невнятно, но громко заговорил во сне. Гузархан вскрикнул, попятился назад и с размаху всадил нож себе в тело. Брызнувшая кровь обожгла ему руки. С минуту он стоял в безумной нерешительности, затем коротким взмахом руки бросил нож в темноту, туда, откуда слышался голос Алихана. Зажал рану ладонью и выбежал из сарая.

В саду рассвело, где-то радостно покрикивали перепела, ворковали горлицы. На вершины деревьев взбиралось солнце. Оно пока было нежарким и ласковым. Гузархан подобрал свой халат и пьяно, разбитой походкой, пошел к дувалу.

Неодолимая усталость гнула его к земле. Он присел. Рукав халата напитался кровью и, прикасаясь к живой ране, бередил ее. Удар ножа, соскользнувший в потемках, пришелся в руку и глубоко распорол ее. Гузархан плевался и проклинал Алихана. «Стоило выпускать свою кровь из-за поганого вероотступника и из-за этих...» Он боялся судить себя. И конечно же, он не осмелится рассказать своему пиру о том, как ждал ночи и крался в худжру, чтобы убить сонного человека, зарезать его как барана. Не скажет и о том, как его вдруг остановил голос этого человека — он ударил в него, как предупредительный выстрел. Гузархан не растерялся, он просто струсил. А когда услыхал еще чей-то сонный голос, он уже не мог принять вызов Алихана — кто же знает, дети там с ним или кто-то еще другой. Ведь и такое может случиться...

Набрав пригоршню сухих листьев, Гузархан поджег их, а когда они сгорели, собрал горячий пепел и присыпал им рану. «Пройдет, не такое случалось». Замотав руку тряпицей, оторванной от халата, Гузархан прижался к дувалу и забылся. Но он слышал все звуки: и пение птиц, и тихое журчание воды в арыке. Чувствовал, как шелковисто-мягкие листья джидовой ветки щекотали ему лицо, когда ее тревожил ветер. Потом это живое и теплое куда-то отодвинулось. Открылась другая картина: гиблые солончаки Ажал-балчика в вечном тумане. Разоренное жилище и бесноватые, до смерти напуганные глаза его обитателей. Из призрачной дали вышел Мадарип-ишан, безмолвный, хмурый, встревоженный. Остановился, поднял руку, точно пророк, и стал говорить медленно и глухо, будто он вовсе не говорил, а сталкивал в пропасть камни:

— Мюрид — вечный раб, — многозвучным эхом отзывалось из пропасти. — Если злая смерть захочет покарать его, он не должен роптать. Если враги станут вырывать из тела его кости его и растолкут череп его, как зерно злака в каменной ступе, он не должен ни кричать, ни стонать. Он должен помнить, что рабы не бывают бессмертны...

— Мы рабы? — тяжко вздыхая, шепчет Гузархан. Он знает, что Мадарип-ишан произносит чужие слова. Он ничего не прибавляет своего к тому, что написано в книгах, — все это придумали святые, почитаемые правоверными, имамы и шейхи. И Гузархан в тревожном сновидении задает еще один вопрос ишану:

— А Рауф-хальфа, а Муслим-дивона? А старый Гияс? Все мы рабы аллаха и твои, почтеннейший ишан-ака?

Никогда еще Гузархану не приходили в голову столь кощунственные мысли. Он, кому сама судьба предначертала быть третьим пиром после кончины Мадарип-ишана, признавал непорочную святость Мадарип-ишана, как язычник признает тайную власть идолов. Можно ли брать под сомнение то, что говорит ишан?..

Гузархан открыл глаза. Голову раскалывал тяжелый гул, точно в нее врывался горячий ветер пустыни. Во рту было горько и сухо. Опираясь здоровой рукой о стену дувала, он приподнялся. Недалеко от сарая Алихан Рузыев сколачивал ящики, а ребята укладывали в них только что сорванный урюк. Они смеялись беззаботно и радостно, как могут смеяться только здоровые, чем-то увлеченные дети. Похоже, и Алихану было не скучно с ними, будто он уже забыл о ночной встрече, которая могла стоить ему жизни.

— Вон он, этот вероотступник, — с горькой злобой прохрипел Гузархан. — Он тоже раб ваш... Шайтан связал меня с этим выродком — я всегда ненавидел и боялся его, и завидовал ему... Прости меня, ишан-ака, я показал слабость, недостойную правоверного. Душа моя разрывается на куски. Прости. Но я сделаю то, что должен сделать верный слуга аллаха. Возмездие да будет совершено...

Слезы, как едкий дым, застилали глаза Гузархана, и, чтобы не разрыдаться, он отвернулся — невыносимо тяжко было глядеть в ту сторону, где живой и совсем не похожий на косматого дервиша работал Алихан. Гузархан посидел еще немного, затем перебрался через дувал и, шатаясь, побрел, сам не зная куда.

ВСТРЕЧА В ПУТИ

Джура Насыров не заметил, когда в купе вагона появился молодой парень с широким скуластым лицом степняка и густым черным чубом, затенившим и без того смуглый лоб. Это был Алимджан Саитбаев.

— Какая станция? — приподняв с подушки взъерошенную голову, спросил Насыров.

— Коканд, — ответил Саитбаев.

Повернувшись лицом к стенке, Насыров тотчас же захрапел. Саитбаеву тоже хотелось спать, но как только он закрывал глаза, тревожная неловкость начинала теснить грудь. Он боялся проспать и потому, подсунув под голову руку, попробовал размышлять о чем-то отвлекающем. Однако мысли его все время возвращались к делам. Ему представлялся одноглазый басмач Курирмат; он никогда не видел его, и тем удивительней, что перед ним стоял все же он, живой и страшный басмач, каким и до сих пор в ферганских кишлаках старухи пугают малышей.

«Одноглазый черт... решил причислить себя к лику святых, — мысленно рассуждал Саитбаев. — Значит, у правоверных с некоторых пор появился еще один святой великомученик, а жестокого курбаши Кура больше не существует... но ведь, черт возьми, там — в Пакистане, в Аравии, в местах, благословенных пророком, живут еще подобные «куры»... Живут, едят хлеб, на что-то уповают. Чего-то ждут, хотя руки многих из них теперь не только оружие — палку едва удерживают. Где-то там топчет чужую землю еще один печально знаменитый курбаши — Хамракулбек... Где-то еще ржавеют осколки бухарского эмирата. А Вали Каюмхан? А всякого ранга предатели и отщепенцы, именующие себя членами «Туркестанского национального комитета»... Живут на подношениях иностранных разведок и кое-что делают...— а сон широкой мягкой ладонью уже ласкал его и все плотнее прижимал к тряской полке вагона, но мысль еще не хотела спать. — Важно, чтобы мы не забывали о них, чтобы помнили... А «волосатые»? Кое-кто называет их «братьями дьявола». Вот тебе и нищеброды! Кстати, чье это словцо, такое меткое, разящее, как стрела? Кажется, русского писателя Шишкова. Так и есть, ни-ще-бро-ды-ы... Хорошо, если на «волосатых» это всего лишь первый выход, а если уже кто-то проторил к ним дорожку? И если это уже не дорожка, а канал, и по нему

течет не мутная арычная вода, а секретная ин-формация?.. А где были мои зоркие глаза и чуткие уши?.. Не увидели, не услышали?.. Случается и такое, товарищ Саитбаев. К сожалению... как только мы пренебрегаем прошлым и предаем забвению, что «волосатые» не всегда были «нищебродами». Но всегда оставались «братьями дьявола». А там, где прочно держатся религиозные пережитки, граничащие с фанатизмом, — там болото, подобное гиблому Ажал-балчику, подходящее место для преступления. Нельзя этого забывать... А мальчишечьи приключения — не помешают? Они уже вызвали нервозность в стане бродяг... но ничего, пусть понервничают, у них будет больше ошибок и промахов. Чертенята, а не мальчишки, если все они такие, как Ромка, — могут свести с ума не только «волосатых», но и...» Мысли двигались уже медленно, словно на тормозах, потом совсем остановились. Саитбаев перестал видеть игру встречных огней на стене вагона. Глаза закрылись. Рука выскользнула из-под головы и повисла, коснувшись пола сложенными в горстку пальцами.

Сквозь сон Саитбаев почувствовал легкое прикосновение чьей-то руки, услышал голос:

— Товарищ, а товарищ, вам неудобно, повернулись бы на бок.

Саитбаев открыл глаза. Купе вагона, кажется, захлебнулось от обилия света. В чуть приоткрытое окно, отбрасывая к потолку исхлестанную занавеску, врывался ветер, внося в вагон запах полыни. Против него сидел только что умывшийся и чисто выбритый Джура Насыров.

— Извините, не хотелось будить, — сказал он, виновато улыбаясь. — Вы всегда читаете стихи во сне?

— Как понимать вас? — спросил Саитбаев, полагая, что сосед его шутит.

— В прямом смысле. Хорошо читали. Мне понравилось.

Саитбаев смутился, ему стало стыдно. «Зачем я лег на спину. На спине спят старики, потому и храпят или болтают всякий вздор».

— А кроме стихов, не говорил ничего? — спросил он, не глядя на учителя. — Не ругался — или еще чего-нибудь похуже?

— Нет, нет, что вы! Просто читали стихи, — ответил Насыров и еще раз извинился за то, что потревожил. — Вы знаете, я сперва подумал, что вам не спится, а когда

пригляделся — понял. Вы, наверно, очень любите стихи? Вы не поэт?

Саитбаев не ответил. Скинув вельветовую куртку, которую он забыл снять, когда ложился, пошел умываться. Неловко чувствовал он себя, точно выказал перед незнакомыми людьми свой тайный порок.

Когда вернулся в купе, Насыров уже раскладывал на столике завтрак: сыр, холодную отваренную курицу, тугие, в каплях воды, свежие помидоры. Он был весел и, казалось, уже совсем забыл о стихах.

— Садитесь завтракать. Сейчас принесут чай. До дома еще час езды, и везти эту провизию домой не имеет смысла. Как вы думаете?

— Но у меня нет ничего с собой, Джура Насырович,— признался Саитбаев.

— Вы знаете меня?! — удивился учитель.

— Конечно, знаю. Если бы я вас не знал, с какой бы стати стал читать вам стихи?

— Вы, вероятно, шутите?

— Как вам угодно. Но вас я действительно знаю. Вы учитель из Ашлака, возвращаетесь из отпуска. Лечились в санатории, не правда ли?

— Вы угадали.

— Вот уж чего-чего, а отгадывать я не мастер, и не обладаю даром ясновидения. Просто хорошо знаю, где вы были.

— И каким образом?

— А вы разве не знаете меня?

Насыров старался вспомнить, видел ли он когда-нибудь этого парня с лицом степного табунщика и сильными руками рабочего человека. По возрасту он еще молод, и война, конечно, прошла мимо него — тогда он был мальчиком.

— Нет, не знаю, товарищ, — признался Насыров.

— Я не поэт. Хотя был бы счастлив, если бы хоть чуть-чуть был поэтом. Я — чекист. И обыкновенный человек без каких-либо художественных способностей.

— Не ожидал, — заметно смутился учитель.

Саитбаев протянул ему руку и, когда сжал в своей широкой ладони его пальцы, сказал:

— Алим Саитбаев! Будем знакомы.

Неожиданное для учителя знакомство взволновало его. По правде сказать, он с самого начала не исключал подобной встречи, но не думал, что все произойдет именно так и в такой необычной обстановке.

Встревоженное сознание тотчас же увело его из вагонного купе от необязательных дорожных разговоров в родной кишлак. Первое, что пришло в голову, — конечно, Душанба. «Похоже, я слишком много взял на себя, хотя хорошо знал, что есть люди, обязанные по должности своей следить за исполнением законов...»

Однако нельзя сказать, что Насыров испугался ответственности — ему показалось, что он ввязался не в свое, а быть может, и в какое-то аморальное дело. Но он не раскаивался. «То, что я делал, — все это только из гуманных соображений, тут ничего нет от корысти. Да ведь если бы вся наша жизнь была разложена по полочкам, если бы каждый шаг человека укладывался в строгую формулу закона и все это неукоснительно бы исполнялось — не нужно было бы придумывать законов и создавать аппарат блюстителей их. Жизнь есть жизнь. В ней все не так просто».

Саитбаев, кажется, догадывался, почему сразу умолк и даже заметно помрачнел его собеседник, и потому не спешил с расспросами, а внимательно и цепко и словно бы снисходительно глядел на учителя и улыбался.

— Вы чем-то огорчены, уважаемый домла?

— Как прикажете считать нашу встречу: случайной?

— И да и нет, — отшутился Саитбаев. Он не любил рассказывать то, что должен был знать только сам, а тем более — отвечать на вопросы, которые так или иначе касались служебной тайны. Присаживаясь к столику, он сказал: — Захотелось поговорить с вами, и вот представился случай.

Что бы ни было, а Насыров приготовился защищать своих учеников, себя да и Душанбу тоже, хотя последний, как он полагал, и является причиной столь неожиданной встречи.

— Догадываюсь, что разговор пойдет о школе?

— И опять один — ноль в мою пользу: не угадали. В школе все хорошо. Не беспокойтесь. Дело в другом, — начал Саитбаев, помешивая ложкой в стакане. — Есть в Ашлаке один мальчик, фамилия его Курбанов, Саидка. Вы его знаете?

— Знаю.

— Расскажите, пожалуйста, все, что знаете.

— Что знаю?.. — учителю сделалось жарко: чего-чего, а уж такого вопроса он не ожидал. — Что знаю?.. Безусловно, мы виноваты в том, что он почти не учит-

ся, — печально продолжал учитель. — Редкий случай в наше время. Отец у него, знаете... Наверно, в этом и надо искать причину. Парнишка он в общем-то неглупый, и озорником его не назовешь... Осенью и зимой он еще сидит за партой, но приходит весна и...

— Учиться он будет как надо, — заметил Саитбаев. — Начало положено: сейчас он работает в школьном саду, даже ночевать иногда остается в хижине у Душанбы.

— У Душанбы?! — учитель и испугался этого известия, и в то же время, кажется, очень обрадовался. — Вы все знаете?

— Ну вот, а теперь мне хочется продолжить наш разговор.

— О чем же говорить, когда все ясно?

— К сожалению, не все еще ясно, Джура-ака, в данном случае мне... — И, чуть-чуть помедлив, словно для того, чтобы проследить за переменчивостью в настроении учителя, спросил: — Вы не замечали у Саидки кусочка кожи на шнурке, который висит у него на шее. Тумара?

— Не замечал... — учитель даже усомнился в целесообразности разговора. Неужели сотруднику столь серьезного учреждения можно позволить себе такую шутку: без улыбки и смущения спрашивать о каком-то нелепом тумаре? — Не замечал, — повторил он с резкостью в голосе. — Не придавал значения...

— Так я и предполагал.

— Вы меня обрадовали, дорогой товарищ, но...

— И огорчил?

— Не совсем так...

— Я понимаю: хорошо, что ребятам удалось оторвать Саидку от бродяг, — спокойно рассуждал Саитбаев. — Хорошо, но это не все... У меня есть небольшая просьба.

— Если в моих силах — пожалуйста.

— Необходимо сделать так, чтобы Саидка пока не оставался ночевать в саду. Можете это сделать?

Насыров кивнул головой. Несмотря на столь мелкое поручение, ему показалось, что Саитбаев относится к этому делу серьезно и этим будто подкупает его. Неужели все тайное увлекательно и заманчиво, как соблазн? Между тем Саитбаев ничем не соблазнял его, говорил просто и, пожалуй, даже сухо, без улыбки, как, вероятно, все работники этого учреждения разговаривают в подобных обстоятельствах.

— Это и все? — удивленно посмотрел Насыров.

— Пока все.

— А кроме Саидки, разве ничто другое не интересует вас? Например, эти бродяги, Душанба?..

— Видите, Джура-ака, если говорить откровенно, да, они не интересовали меня. Я думаю, что они больше интересовали духовников официальных мечетей, потому что мешали им: отбивали у них прихожан, вербовали их в свою секту. Поэтому между духовенством и сектантами идет борьба с тех пор, как появилось сектантство. А вот их шарлатанство, вымогательство, обман доверчивых людей, а то и чисто хулиганские выходки — это дело суда и милиции. Но вернемся к существу дела. Когда мальчишки подобрали в тугаях умирающего дервиша и взялись за его исцеление, а затем под вашим руководством установили опеку над ним, вот тогда — как бы проще сказать вам? Это дело чуточку, на воробьиный шаг, как говорят люди, приблизилось и ко мне. Не скрою, я был доволен и ждал, что вот-вот должно произойти что-то более значительное. Думаю, что я не заблуждаюсь в своих догадках.

— А почему вы?..

— Не продолжайте, понял вас... Я верю, что добрый и умный человек может повлиять на сбившегося с пути и даже на преступника гораздо сильнее, чем тюрьма. Эта крайняя мера, к сожалению, не всегда приносит пользу для общества, бывает и наоборот. Хотя, как вы понимаете, и без тюрьмы ни одно государство обойтись пока не может. Поэтому я и не вмешивался в ваши дела. Но это не значит, что я ничего не знал — знал все. И если бы что-то заметил — наше знакомство, вполне вероятно, состоялось бы гораздо раньше.

— Ну а Душанба... Почему вы ничего не хотите сказать о нем?

— Делайте свое дело, как начали, а я займусь своим. Так мы не станем мешать друг другу, а скорее всего — поможем.

— Ну а о Саидке, может, вы скажете чуть больше? Хотя бы об этом...

— О тумаре? Не торопитесь, дорогой учитель,— скупо улыбнулся Саитбаев. — Так будет лучше. А в том, что Саидка неплохой парнишка, я согласен с вами...

Позавтракать и напиться чаю они так и не успели. Поезд, сбавляя бег, подходил к станции. Саитбаев попрощался с учителем и первым вышел из купе.

УЧИТЕЛЬ ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ

После ночного визита Гузархана Алихан уже не смог заснуть да и время подходило — надо было вставать. Он вышел из худжры, ополоснул из кумгана лицо и руки и принялся за работу.

Ребята спали под пологом-накомарником в глубине сарая. Алихан не стал будить их — ему не хотелось, чтобы они увидели на его лице тревогу минувшей ночи. Из головы, однако, не выходила мысль: почему Гузархан бросил нож и убежал? Что с ним произошло в эти решающие минуты? Мог ли закоренелый бродяга, человек необузданной силы испугаться слабых вскриков спящих детей? А может, его остановила ответственность, какую влечет за собой нападение на детей? Не меньше беспокоило Алихана и другое: как долго сможет он переносить преследования этих бродяг? Теперь, когда больше не существует тайны, где он и что с ним, — «волосатые братья дьявола» не оставят его в покое. А что делать?.. В этом вопросе отныне был весь смысл его существования.

Но вот поднялись ребята. Надо покормить их.

— Зачем не разбудили нас, Душанба-ака? Мы меньше успеем сделать и этим огорчим нашего учителя, — выразил общую обиду Иргаш.

— Учитель не будет огорчен, — ответил Алихан, разливая по пиалам кислое молоко. — Вы много сделали за это время.

— Могли сделать больше, — сказал Федя.

— А когда спать?

— Вчера и позавчера мы просыпались раньше, — продолжал Иргаш.

Алихан не стал спорить и молча принялся за свой завтрак. Против него на циновке сидел Саидка. На нем не было его замызганного халата и дервишской шапки — это одеяние времен Тимура он скинул в тот же день, как вернулся из набега на болотное становище дервишей, скинул и забросил на штабель сухих кизяков у себя на дворе. Волосы ему остриг Иргаш, не так уж гладко, как бы остриг парикмахер, — барашек, зато не торчат грязные вихры. Федя отдал ему совсем еще новую тюбетейку, Ромка — штаны с двумя боковыми карманами и рубашку. Саидка стал неузнаваем, и не только своей внешностью — радостной улыбкой во все лицо. А Душанба, глядя на него, все больше тревожился. Он не соби-

рался рассказывать ему о встрече с Гузарханом, но был уверен в том, что и за Саидкой отныне будет ходить опасность расплаты. А вот как отвести от него эту опасность — он не знал.

В полдень за Саидкой пришла его сестренка Рано — ее послала мать. Алихан подумал: «Начинается». Отозвал Саидку и, придерживая за плечо, тихо, едва справляясь с волнением, сказал:

— Будь осторожен, Саиджан. Я хочу, чтобы ты был вместе со всеми. Вместе всегда лучше. Понял ли ты меня, Саиджан?

Саидка моргал глазами и откровенно недопонимал, почему Алихан так встревожился: ничего ведь не случилось плохого.

— Прошу тебя, дружок...

Саидка мотнул головой и, толкнув сестренку, пошел вслед за нею.

К вечеру, когда разбежались из сада ребята, возле худжры появился Джура Насыров. Алихан даже вскрикнул от неожиданности. Насыров был искренне рад встрече, он хлопал Алихана по плечу и, заглядывая в его глаза, спрашивал:

— Все ли у вас хорошо, Алихан-ака? Устали? Вы, по-моему, слишком увлеклись, свалили такую работу — за три месяца не управиться.

— Это неплохо, Джура-ака. У меня все хорошо. Рад за вас, что вернулись вы в отличном настроении. Раны больше не беспокоят?

— О, врачи такие волшебники: посмотрели, ощупали и сказали ранам: ни-ни! Конечно, эти волшебники не всегда совершают свои таинства без боли — но что такое боль в сравнении с результатом?.. Я здоров, Алихан-ака, и могу вас обрадовать: вы остаетесь в нашей школе. Я договорился. Вы недовольны чем-то?

— Вы сказали: договорились? — понизив голос, спросил Алихан, и лицо его стало непроницаемо жестким. — Договорились с тем учреждением, которое...

— Да что с вами, Алихан-ака?! Районо согласно назначить вас садовником.

— Простите, я неправильно понял, Джура-ака...

Они прошли в беседку и сели. В саду было тихо, но уже кое-где в чаще появились птицы, отдохнувшие от дневного зноя, они робко пробовали голоса, чтобы затем не умолкать до полуночи.

— Не успел приехать и так много узнал хорошего. Тургунбай-ата рассказал мне, как вы смело действовали. Я очень доволен вами. Заслужить похвалу старого партизана — надо быть действительно слишком смелым. Он не разбрасывается словами.

— Ничего хорошего мы не сделали, Джура-ака, — хмурясь, сказал Алихан. — Ата Тургунбай достоен уважения, но он преувеличивает. А вам скажу: я не уверен в благополучном конце этой истории.

— Что вы имеете в виду?

— Наш налет может вызвать месть. Сумасшедших не судят — они хорошо усвоили эту часть закона.

— Вы так думаете?

— Конечно. Мадарип-ишан сперва испытал на себе. А когда ему удалось — сказал: «Душевная болезнь — наша охранная грамота. Не стыдитесь ее». И вот с тех пор...

Насыров вспомнил весь разговор с Саитбаевым и пожалел, что ничего не узнал у него относительно Алихана. Нужно ли сейчас так тревожиться за него?

— Мне, должно быть, придется пойти и повиниться, — тяжело вздохнул Алихан. — Не хотелось прикасаться еще раз к этому... Но вижу: больше нельзя откладывать, могут быть жертвы. А что касается меня — будь что будет, я заслужил...

— Верю вам, — тихо сказал учитель. И опять подумал о Саитбаеве — как хотелось знать его мнение. А вдруг совет, который он собирался дать, окажется не подходящим и помешает делу? Но почему он, Саитбаев, тогда сам не сказал о Душанбе, не предупредил, что можно и чего нельзя. Такой человек, как Саитбаев, ничего не мог упустить из виду, по крайней мере не имел на это права. Решение же учителя, привыкшего делать все открыто и гласно, уже созрело.

— Если вы серьезно решили отказаться от безумных и жалких фанатиков, от всего прошлого — следует сказать главное, Алихан-ака. А главное, как я думаю, — надо сказать так, чтобы все слышали. Понимаете?

— Не совсем. Я чего-то боюсь.

— Вы боитесь сказать ВСЕ, боитесь поколебать догму. А между прочим, в этом и состоит ГЛАВНОЕ!.. Послушайте меня, Алихан-ака, я ваш друг и не желаю вам плохого. Вы никогда не задумывались над тем, чтобы написать в газету?

— Не задумывался. Вы говорите что-то совсем не то.

— Я говорю то, что хорошо понимаю. Газету прочтут все, среди читателей окажутся и те, кто пока еще верит этим бродягам. Будут и ваши... И хорошо, если они прочитают статью. Это заставит их подумать кое о чем. Подумайте и вы хорошенько.

Идея учителя напугала Алихана. Он постоянно чувствовал душевную тяжесть, она мутила сознание, иногда он сгорал от стыда за лживость своего положения, но до сих пор он еще не задумывался над возможностью открыто сказать людям, а вернее — излить все, что переполняло душу. Давно оторвавшись от людей, он разучился понимать жизнь и вряд ли в этих условиях смог бы объяснить свои заблуждения. А быть может, у него и не было заблуждений? Быть может, он и сейчас еще верит, что аллах услышит вздохи его и простит? Или ему и в самом деле опротивели косматые отшельники, надоели их дикость, вечное притворство и неприкаянность?..

Насыров глядел в лицо Алихану прямо и честно.

— Я помогу вам, Алихан-ака. Вы начнете, а потом вместе подумаем. Это нелегко, я понимаю вас. Но также и верю — все будет хорошо.

Алихан ничего не сказал. Поднялся и пожал руку Насырову. Тот понял: он колеблется, а причина его колебаний не нуждается в объяснении.

СНОВА РАУФ-ХАЛЬФА

Федя заметил его на перекрестке в Маргилане и, не отдавая себе отчета, словно по чьему-то велению, тотчас же вышел из автобуса, в котором он ехал из Ашлака в Фергану. Рауф-хальфа сидел возле арыка. У самой кромки мутной, замусоренной саманом воды гордо прогуливался петух и сердито покрикивал: «Ко-ко-ко». А когда к воде чуть не на брюхе подбиралась маленькая собачонка, с пересохшим от жажды языком, охранявшая чей-то хурджум, петух, нахохлив ухоженную золотистую шею и угрожающе двигая ею туда-сюда, кричал: «Кр-р-р!» и при этом скрюченными лапами рвал из-под себя мокрую землю. У Феди появилось желание запустить в петуха яблоком, которое он держал в руке, но, подумав, он подавил это легкомысленное желание. Укрывшись за корявым стволом тополя, Федя принялся наблюдать за бродягой. Он все еще не мог примирить-



ся с незаслуженным упреком Генерала за то «несогласованное» с ним наблюдение, которое он провел за Саидкой, когда тот ходил в кишлак Павульган. И вот теперь представился случай, чтобы доказать Иргашу всю ошибочность его обвинения — когда речь идет о бродягах, бдительность нужна как воздух! «Быстро он вернулся из Коканда, — подумал Федя. — Наверное, обманул и удрал...»

Рауф-хальфа сидел и будто дремал, но так только казалось. На самом деле, прищурив глаза, он внимательно и зорко поглядывал по сторонам. Внимание его привлекали прохожие, сновавшие туда-сюда по шумному перекрестку. Разглядывал он их серьезно и придирчиво, как опытный покупатель, выбирающий из кучи старья нужную вещь.

— Дурачок дурачком, а глазами лупает здорово, — прошептал Федя. — Саидка говорит, что они умеют притворяться. Вот я сейчас и посмотрю, что он станет тут выкомаривать...

Рауф поднялся, затарахтел пустыми жестяными банками, привязанными к халату, и пошел. И петух потопал за ним, проворно ныряя под ногами у прохожих. Однако Рауф дошел только до базара, который начинался тут же, у перекрестка. Там он стал что-то кричать и прыгать. Но люди, занятые своими делами, не обращали внимания на бродягу. Тогда он подошел к базарному пирожнику, выклянчил у него самсу* и опять вернулся на перекресток. На его месте возле арыка теперь уже сидел другой и, похоже, такой же побирушка. Он казался человеком неопределенного возраста, но моложе Рауфа, с обветренным лицом и мрачным голодным взглядом. На голове у него серая чалма, а через плечо — мешочная сума, вся в почерневших масляных пятнах. Откуда он появился — Федя не заметил и потому сердился на себя за допущенную оплошность. Нищий жевал лепешку, припивая из пиалы чай. Рауф-хальфа, недобро поглядывая на нищего, как на нежелательного конкурента, отошел в сторону и уселся возле дерева. Нищий с взаимной неприязнью поглядел на Рауфа и отвернулся, словно боялся потерять свой кусок лепешки. Но Рауф-хальфа и не помышлял о посягательстве на чужую лепешку, он принялся за самсу, подкармливая и петуха, топтавшегося перед ним. Нищему, должно быть, чем-то не понравился Рауф-хальфа, а может, его слишком близкое общение с петухом. Он сунул за пазуху недоеденный

кусок и пиалу, обмахнул ладонями конец бороды и пошел, направляясь в сторону от базара. «Безволосый. Кусошник базарный», — подумал Федя.

Следя за нищим, Федя уже считал, что он одним глазом заглядывает в тайну, которая пока никому не доступна. Интересно, думал он, сидит этот фокусник, уплетает самсу за обе щеки и совсем не догадывается, что за ним кто-то подглядывает и замечает все его хитрые уловочки. Но почему они не поговорили? Хотя, о чем им разговаривать? Сколько и чего подали? Кого обманули?..

Рауф-хальфа тем временем глядел в тот проулок, куда по теневой стороне устало и неторопливо пробирался нищий, и как только он повернул за угол, поднялся и Рауф-хальфа, поднялся, но продолжал стоять на месте, должно быть, размышляя: куда податься? В чьем безотказно добром казане варится нынче его доля плова? Где-то аллах уготовил ему кров и ночлег? Постоял в раздумье, подхватил петуха и побрел. И Федя пошел за ним.

Маргилан — древний, тесный и страшно запутанный город. Приведи сюда человека со стороны, оставь его одного где-нибудь в еврейском квартале или у Большого хауза, и он не выберется отсюда без посторонней помощи. Улицы такие кривые и узкие, что два встречных ишака разойтись не могут — одного приходится заводить в чужой двор. Множество глухих тупиков и калиток и ни одного окна — высокие дувалы всюду, а за ними возвышаются пышные купы шелковиц либо недосягаемо высокие беседки, увитые виноградными лозами, либо сочная зелень инжирного дерева. Людей на этих улицах почти не бывает, только собаки лежат у калиток и лениво перебрехиваются, когда на улице появляется человек. Федя хорошо знает город и поэтому не спешит — сунься в такую улицу и, пожалуй, без штанов останешься — собаки обдерут! Рауф-хальфа тоже пробирается осторожно. А тот нищий уже давно затерялся где-то в сером скопище мазанок и дувалов. Руаф-хальфа остановился возле мечети... хотя какая это мечеть? Не мечеть, а какой-то фантастический кокон: давным-давно артель ткачей устроила в ней красильный цех и обвешала ее со всех сторон яркими разноцветными мотками крашеных ниток. Рауф-хальфа потряс своими жестянками — из красно-синего и желто-зеленого кокона проклюнулась сырая, как личинка шелкопряда, бритая голова сторожа,

а потом и весь он вывалился из многоцветной лохматой пряжи, сухощавый и однорукий, с кривым ножом на поясе. Поглядел, покачал осуждающе головой и что-то сказал Рауфу, но Федя не расслышал его слов. Он только заметил, как Рауф-хальфа плюнул, круто повернулся и зашагал прочь.

Однорукий караульщик, укрывшись мотком пряжи, глядел ему вслед.

— Всем уж надоели, — прошептал Федя, — даже такие инвалиды-старички не хотят разговаривать с ними.

А Рауф-хальфа пылил и пылил, словно тащил за собой облако дыма. Он шел теперь по избитой копытами обочине главной ашлакской дороги. И чего Федя привязался к нему? Мечется старый бродяга из стороны в сторону от нечего делать и оттого еще, что ума не хватает, а он все топает за ним. Вот и в Ашлак вошли — тут недалеко: километра четыре-пять. Рауф-хальфа опять принялся раскачиваться как пьяный. Но что оказалось самым неожиданным, так это то, что бродяга вышел на улицу, где живет Саидка. Остановился перед калиткой, повертел туда-сюда головой и несколько раз побрякал висячей скобой. Не дождавшись ответа на свой вызов, зашел во двор. «Вот это штучки-мучки», — подумал Федя. Забравшись на дувал, он пробежал по нему до следующего двора и быстро вскарабкался на шелковицу, поднявшуюся кудрявой кроной над плоскими крышами кибиток. Отсюда Федя хорошо видел Саидкин двор. А вот и он, Саидка — по пояс голый, в штанах, заляпанных глиной и засученных выше колен. Руки и ноги у Саидки тоже в глине, перемешанной с соломой, он делает саманные кирпичи. Рауф-хальфа подошел к Саидке, сорвал что-то с его худенькой шеи и поспешно упрятал себе за пазуху. А Саидка даже не воспротивился такому нахальству: стоял с растопыренными руками и хлопал глазами. Так они простояли друг против друга минуту, а может быть, две — Федя не слышал их разговора. Но о чем бы ни шел разговор — сама встреча «волосатого» с Саидкой с новой силой всколыхнула в нем дремавшую подозрительность.

— Понятно. Примазался к нам для того, чтобы вынюхивать все, а потом передавать этим?.. Ш-шпи-ион, ну ладно, посмотрим. Генерал и Ромка выгораживать его после такого предательства не станут. Все...

Он слез с дерева, пробежал по дувалу, балансируя руками, и прыгнул вниз. Рауф-хальфа в это время был

уже далеко от Саидкиной калитки. Федя поглядел ему вслед и побежал в другую сторону.

...В сад он не вошел, а ворвался, как врываются в чужой дом, когда несут страшную тревогу. И почти у самых ворот наскочил на Иргаша.

— Генерал, у нас ЧП! — крикнул он и потащил удивленного Иргаша за собой. — Саидка, понимаешь, этот Саидка... Он опять с ними, с «волосатыми»... Своими глазами видел, сам, понимаешь... — он все еще не мог отдышаться от быстрого бега, и потому ему не стоялось на одном месте, словно ноги его все еще бежали куда-то. — А еще — тот, с петухом который, знаешь? Свободненько разгуливает! Наверно, удрал из Коканда. Точно! Вот он-то и заявился к Саидке прямо домой. Пожалуйста!..

Выпалил этаким трескучим залпом, хватил ртом воздуха и замолчал, прищурив зеленоватые ожидающие глаза. Иргаш, присев на корточки, разглядывал муравьев, суетившихся возле его босых ног. Он до боли кусал губы, силясь сдержать гнев и потому не глядел на Федю, а тот с нетерпением ждал.

— Молчишь, Генерал? Говорить тебе нечего? Больно уж вы с Ромкой за него заступаетесь. Разбираться надо!

— Хорошо, что ты у нас такой разборчивый, — крикнул Иргаш, искоса хлестнув его негодующим взглядом.— Здорово разборчивый. Надо работать, а ты сачкуешь. Весь день тебя нет. Болтаешься где-то. Ромки нет — нога у него болит. У тебя какое место болит? А урюк падает и киснет. В саду девчонки да пацаны — что они могут? И Душанба один ничего не сделает.

— За коноплянкой в Фергану ездил. Корму в живом уголке нет. Не знаешь, что ли? — оправдывался Федя. Но он не сказал, что вернулся без корма: все равно Генерал сейчас не поймет его.

— И Саидка сегодня не пришел, — как неприятную новость сообщил Иргаш. — Почему не пришел?

— Ну я же тебе объясняю: «волосатый» к нему приходил, с петухом. Понимаешь или нет?

— Ты всегда говоришь, как у вас в Сергаче... и вечно забываешься. Рассеянный ты человек, Федяга. Отец у Саидки кто? Дивона, понимаешь, его отец?! Что еще тебе надо?

— Говорил-то он не с дивоной, а с Саидкой, — не сдавался Федя. — Да еще чего-то сорвал с его шеи. Или, может, мне почудилось это?

— Тебе часто что-нибудь чудится. Приняли мы Саидку к себе? Приняли. Значит, должны верить ему. Помогать тоже должны, — он поднялся и пошел. — Нечего болтовней заниматься, урюк собирать надо...

Но то, что рассказал Сергач, больно кольнуло Иргаша. Появилось не то чтобы сомнение — тоска какая-то, прилипчивая и неотступная. Неужели Саидка способен на такую подлость? Как после этого он будет ходить по улицам кишлака, встречаться с мальчишками и глядеть им в глаза? Иргаш вспомнил дни и часы, прошедшие после той утренней встречи с Саидкой на дереве, и ничего не находил в его поступках такого, что бы заставляло не верить ему. Обратно не пойдет Саидка, подумал он. Бродяги могут угрожать ему, могут даже побить, но Саидка не за тем ушел от них, чтобы через неделю-другую вернуться с повинной головой.

— Ромку не видал? — спросил Иргаш.

— Что я пасу, что ли, этого Ромку!

— Не очень злись и не забивай башку всякой ерундой, — уже не так строго сказал Иргаш. — Если он неумный и заварил такую плохую шурпу, сам и кушать ее будет. Только я совсем по-другому думаю...

БЕЗРУКИЙ

Жил он вполне исправно. Дом его, скрытый за высоким дувалом, стоял на тихой кривой улочке, в махалле Ак-мечеть. А улочку называли по-разному: одни — Беш-арык, другие — Безрукий тупик. Однако сам безрукий имел свое имя: Мадумар-ткач. И никому здесь, в Маргилане, не приходило в голову, что Мадумар вовсе не Мадумар — с рождения у него было другое имя. Когда-то он жил в Коканде и вместе с отцом торговал бараниной и овчинами. А когда у тамошних богачей появилась заманчивая затея с «Кокандской автономией», ушел в басмачи, к самому Курирмату. Но судьба не была щедрой к нему и не сулила ничего хорошего: два раза он попадал в плен к красным, первый раз сумел обмануть — отпустили, а второй раз не поверили его слезным раскаяниям, решили расстрелять, но он ночью подкопал стену и убежал. И это не все: в бою ему отрубили руку вместе с занесенной над головой саблей. Неудобно жить без руки, но что поделаешь? Из коровьего хвоста руку не сделаешь и не пришьешь ее, как рукав к халату. Мудро он поступил, что не вернулся в Коканд, — все бы знали,

где он оставил руку, мальчишки бы не давали ему прохода и кричали вдогонку: безрукий басмач! В Маргилане же он — почитаемый человек: старые люди степенно кланяются, молодые уступают ему дорогу. Старенький имам всегда очень радушно встречает его и приглашает на почетное место в мечети. Но у имама нет другого выбора — мечеть пустует, с каждым годом меньше становится посетителей. Да и в людях плохо разбирается имам. Он не знает, что Мадумар-ткач больше, чем пророка, почитает предводителя оголтелых дервишей Мадарип-ишана, против которых старый имам должен вести неослабную борьбу, как предписывает Духовное управление мусульман.

Мадарип-ишан редко бывает у Мадумара, а если случается — появляется тайно, так, чтобы никто не видел его. Что же касается хальф ишана — этим шумным гостям дорога к Мадумару заказана, и чтобы поговорить с ним о сколько-нибудь серьезных делах, надо сперва вручить ему заветный тумар. А если нет такого тумара, Мадумар захлопнет перед твоим носом калитку и даже имени твоего не спросит. Таких волшебных тумаров всего два: один у Мадарип-ишана, и где он хранит его —



никто не знает. А второй — этот уже совсем недоступный: он у самого Курирмата! Так что Мадумар пребывал как бы в действующем резерве, на крайний случай, и жил себе спокойно в тихом тупичке, давно уже не ткал яркий, как звездное небо, хан-атлас, а сушил и караулил пряжу.

Покой безрукого был нарушен неожиданно и в такое время, когда правоверные, забыв мирскую суету, должны стоять на молитве. Предупредительно тихо звякнуло кольцо на калитке Мадумара. Безрукий услыхал, но продолжал молиться: «Мальчишки, проказники, озорничают, я проучу их, бездельников!» — подумал он. Но кольцо с той же осторожной твердостью брякнуло еще раз. Мадумар поднялся. Отворил калитку. Перед ним в душном сумраке вечера стоял нищий. Мадумар скорее почувствовал сердцем, чем понял умом, кто стоит перед ним. Он шагнул в сторону и вопреки давней предосторожности, пропустил нищего во двор.

— Что вам надобно от меня, почтенный гость? — хриплым от волнения голосом спросил он.

— Благодарение аллаху за то, что он сподобил меня найти вас живым и здоровым, Мадумар-ака. Я счастлив, — с неменьшим волнением, чем хозяин, ответил нищий и оборвал на своей шее гайтан с кусочком кожи. — Возьмите, это вам...

Мадумар тихо притворил калитку, заложил ее рычагом, затем проводил гостя на мужскую половину дома. Пока он хлопотал по двору и распоряжался, что приготовить и как угостить пришельца, тот, привалившись к стене, тяжело дремал. Мадумар включил свет, посадил на кончик носа старомодные очки и только теперь внимательно разглядел врученный ему тумар. Все было правильно. И даже молитва та самая, которую чаще всего любил повторять Курирмат — начальная половина молитвы. Так и должно быть.

— Как видите, — заплетающимся от сна языком пробормотал нищий. — Я очень извиняюсь... Очень извиняюсь, Мадумар-ака... Не помню, когда последний раз удалось мне уснуть. И была ли такая благословенная всевышним ночь. Не знаю... Зовите меня Хаджиусман. Больше я ничего не скажу вам сегодня. Ничего...

— Умойтесь с дороги, я помогу вам, — сказал безрукий. — А пока приводите себя в порядок, подоспеет и плов. Нельзя натощак ложиться, уважаемый, аллах не даст вам спокойного сна.

Что поделаешь: гостю не подобает перечить хозяину дома. Вода немного освежила голову, однако для большого разговора Хаджиусман не был готов: его неодолимо клонил сон и наконец свалил. А Мадумар-ткач всю ночь прокоротал у порога на дырявой овчине, терзаемый сомнениями и страхом. Он несколько раз за ночь выходил на двор, ворчал на ишака, фыркавшего под навесом, цикал на собаку, вдруг начавшую тявкать. И только перед рассветом, когда густую духоту разогнал ветерок, он ненадолго забылся.

...Прежде чем открыть глаза, Хаджиусман нащупал в изголовье нож, подскочил как ужаленный и сел.

— Не пугайтесь, уважаемый, это я, — поскорее предупредил Мадумар. — Здесь никого нет.

Худжиусман убрал из-под подушки руку. Лицо его блестело от пота, а маленькие недоверчиво-колкие глаза так быстро бегали с предмета на предмет, что Мадумар, с сочувствием покачав головой, сказал:

— Натерпелись вы, оказывается, страху.

— Всякое было, Мадумар-ака, — вздохнул гость. — Думал, погибну в песках от жажды или буду умерщвлен змеями. Никогда столько не видал гадов. Даже во сне казалось, лезут на меня проклятые твари. Вот и сейчас... Счастье мое — проводники попались опытные.

— Ничего, бог милостив. Все будет хорошо, — успокаивал Мадумар. — Страх и усталость уже позади. Я уверен, что радость ждет нас всех, и ради нее...

Хаджиусман горько поморщился, словно через его сердце прошла боль, и закрыл глаза, на месте которых остались красные припухшие складки. Он молчал.

— Вы ведь привезли радость? Не правда ли?

— Не надо! — прервал Хаджиусман и поднял руку, точно запросил пощады. — Не надо. По воле аллаха я взял на себя этот опасный труд, уважаемый Мадумар-ака, — начал он, сдерживая осипший от длительной жажды голос. — Я пришел, чтобы исполнить последнюю волю нашего господина и распорядиться его завещанием.

— О-о, великий аллах!

— Его больше нет с нами. Всевышний уготовил ему спокойную и святую жизнь.

Они шептали молитвы, призывая аллаха быть великодушным, когда перед ним встанет его раб и храбрейший воин Ирмат, прозванный в жизни Кривым Ирматом. Единственной рукой, черной и жесткой, как корень

саксаула, Мадумар огладил бороду. Лицо его казалось дряблым, как прошлогодняя репа. Глаза потухли, одинокая скупая слеза тускло поблескивала на седобородой щеке.

— Джигиты, которые по воле аллаха еще живы и не переметнулись в стан наших врагов, — тихо продолжал Хаджиусман, перебирая беспокойными пальцами скрученный кончик бильбока, — решили воздвигнуть мазар на его могиле. На чужой стороне нелегко сделать такое: нужны связи, деньги... Но нельзя допустить, чтобы память о нем заросла дикой травой.

Хаджиусман говорил сдержанно, но горячо, как в споре, хотя Мадумар и не собирался возражать ему: он был согласен и слушал его с большим вниманием.

— А как Ариф-ишан? Да продлит аллах его жизнь!

— Мадарип-ишан,— поправил Мадумар.— Он жив и, полагаю, вполне здоров. А вот где он — этого не знаю. Давно не встречались. Увидеть его трудно.

— Он нужен мне, и как можно скорее.

— Только не торопите меня. Подвернется счастливый случай, и я дам ему знать. Он будет рад.

— Чему рад?

— Тому, что вы здесь, уважаемый.

— Спасибо. Но будет ли он рад пойти со мной?

— Отчего же, если можно уйти. Ему здесь не сладко живется, — ответил Мадумар. — И показать себя не на чем. Да, да, почтеннейший...

Мадумар стал собираться на работу. Теперь ему обязательно придется торчать на перекрестке, слоняться по базару, чтобы увидеть Гузархана или на крайний случай — хальфу Рауфа. Только через них можно связаться с Мадарип-ишаном. Гость тоже поднялся, но Мадумар предупредил его:

— Вам придется посидеть взаперти, уважаемый. Отдыхайте и набирайтесь силы. Здесь вам никто не помешает...

Он ненадолго вышел и вернулся с большим чайником. Потом принес казанок с разогретым пловом. Принес корзину фруктов. Когда все это расставил на камышовой циновке, указал на нишу в стене, задернутую занавеской:

— Здесь святая пища — книги!

И приложив к груди свою единственную руку, не показывая гостю спины, вышел.

САИДКИНА РАДОСТЬ

В саду что ни день — новая работа: начался сбор косточковых плодов, а там, глядишь, подоспеет и виноградная страда. Не успеешь управиться с этой работой, как зазвенит первый звонок и —опять за парты! А Иргашу казалось, что он еще не находился по горам, по степи, не наслушался птичьего пения, не накупался в арыке. И даже досыта не насмотрелся кино. Быть может, поэтому он и торопился: хотел поскорее свалить большие садовые дела и наверстать упущенное. Но не получалось: поначалу не было Ромки, потом Сергач ни с того ни с сего засачковал, а теперь и Саидка несколько дней глаз не кажет. Ну с этим чудиком надо будет как следует разобраться, и если только он вправду занимается темными делишками, тогда...

Думал и Душанба, правда, о другом и несколько иначе, чем Иргаш, думал и тоже грустил. Он стал замечать за собой одну странность: постоянно мысленно с кем-то спорит, и спор этот все об одном — о его жизни. Тот невидимый и безликий противник с неотступной настойчивостью дудит ему в уши: «Ты не Душанба, а все тот же бродяга, а к тому еще — трусливый приживальщик. Душанба, какого имеют в виду ребята, — честный и смелый человек. Он не побоится взглянуть в глаза правде. Ты не такой. Ты избегаешь людей, не переносишь их взглядов, вот поэтому ты и укрылся в саду и вообразил, что дети ничего не понимают. Заблуждаешься. Они безмерно преданы тому Пятнице, о котором знают из книги. Ты ничего не можешь иметь общего с тем книжным героем. Пойми это. А заявление для газеты — ты не написал его, боишься. Ты все еще думаешь и прикидываешь, как и что для тебя выгоднее. Но люди есть люди, они могут понять и оценить твое заявление только тогда, когда увидят на деле, чего оно стоит. Ты мучаешься, страдаешь, и твои мучения будут продолжаться до тех пор, пока ты не вырвешь из своей души полынь рабской трусости. На такое способен только честный человек...»

Что ответить безликому и жестокому шептуну? А может, проще: не слушать, заткнуть уши или отринуть его от себя, прогнать прочь? Но правду, оказывается, нельзя ни отринуть, ни прогнать...

В глубине сада кто-то закричал:

— Саидка-а-а!.. Ребята, Саидка заявился!..

По тропинке, между деревьев и куртинок одичавшей розы, бежал Саидка, по уши обляпанный глиной, в соломенной трухе, но безмерно счастливый и веселый. Следом за Саидкой, слегка прихрамывая, торопился Роман.

— Чуть разыскал нашего прогульщика! — прокричал он, размахивая руками. — Нигде его нет. На улицу не выходит. Думаете, где я отыскал его? В земле! Не смейтесь! Зарылся в землю, как тот маленький черный зверек. Как его называют, Сергач?

— Крот, — неохотно подсказал Федя.

— Вот точно — крот! Закопался и месит глину.

Иргаш надел фуражку, которая до этого висела на сучке, и пошел навстречу ребятам, точно собираясь принять рапорт. Остановились друг против друга. Строго поглядев на Саидку, Иргаш спросил:

— Чего долго не приходил? О тебе ребята, знаешь, как беспокоятся. А ты запропал где-то. Нехорошо! И работы полно.

А Саидка, не замечая этой строгости ни в словах, ни в позе Иргаша, расплывался в бесхитростной улыбке небойкого подростка и глядел на ребят счастливыми и немного виноватыми глазами.

— Правильно говорит Генерал, — вмешался Федя. — Отвечай, почему не приходил?

— Работа есть. Дома работа есть, — Саидка заговорщицки поглядел по сторонам, будто решил открыть перед мальчишками тайну. — Отец домой пришел. Муслим-дивона пришел. Совсем переменился: не прыгает туда-сюда, не выдуривает. Железки не собирает. Пришел и сказал: «Давай будем глину месить, саман делать. Дом поправлять будем. Дувал хороший тоже делать надо. Жить человеком надо. Хватит людей смешить». Так сказал. Дома очень хорошо стало. Мама не плачет. Рано — сестренка — тоже не плачет. Совсем хорошо!.. А Рауф-хальфа, который святого петуха имеет, — он удрал. Скрывается. К нам приходил, дивону спрашивал, а я соврал немножко: сказал, дома дивоны нету. Оч-чень сердился Рауф-хальфа. Тумар, который был у меня на шее, — сорвал! Сказал мне: не будет у тебя счастья. Кяфиром обозвал и еще очень нехорошо ругался. Потом убежал. Зачем мне такой тумар? Его Мадарип-ишан дал. Фить, пускай забирает себе. Зачем мне такое счастье? Пускай берет, да?

Иргаш незаметно толкнул Федю и процедил сквозь зубы: «Эх, Сергач... язык твой немножко поносом болеет». Федя только поморщился. Второй раз Саидка «подвел» его; вышла еще одна осечка на подозрительность.

— И врет же этот хальфа! — смеялся Роман. — Сильнее, чем в сказках. Сам слыхал. Но он не злой, немножко не такой, как те.

— Ага, — подтвердил Саидка. — Правильно. Ромка хотел тогда нападать на него. Петуха отнять. А Рауф-хальфа хитрый — схватил петуха и убежал. Испугался. Ромка кричал шибко.

— Ну его, сумасшедшего хальфу! — отмахнулся Иргаш. — Я его тоже видел — оборванец косматый. — Помолчал немного, о чем-то думая, и сказал уже другим тоном: — Если у тебя такое серьезное дело, Саиджан, — работай у себя дома. Мы справимся.

— Конечно, — проворчал Федя, недовольный собою.

— Закончим в саду, тебе помогать будем. Все придем, большой хошар* устроим. Ага?

— А я и сейчас могу помогать ему, — с радостью подхватил Роман. — По деревьям лазить не могу — нога не поджила. А сырцовые кирпичи — бари-бир, сделаю.

— Нет, нет, пока не ходи, Ромка, не надо, — возразил Саидка, и даже чуть-чуть испугался. — Потом. Я сам скажу тебе. Он, знаешь, пока не совсем... Он пока не любит людей. Пускай немножко один дома сидит. Пускай, да?.. Потом будет хорошо, — он снова заулыбался от какой-то только ему известной радости, подпрыгнул — с его ног полетели ошметки засохшей глины.

Алихан, слушая со стороны, хмурился. Он понимал Саидку, его детскую доверчивость, понимал ребят, сочувствующих ему, но знал он и «волосатых». И тем не менее он не мог позволить себе сказать ребятам, чтобы они не радовались вместе с Саидкой. Почему? Просто он не мог этого сделать.

— Кибитку поправишь, дувал новый сделаешь, потом что? — спросил Иргаш весело.

— Не знаешь? Учиться буду. Хлопок пойду собирать. В саду работать. Всегда со всеми буду. Хорошо, да?

— Еще бы! — воскликнул Ромка. — А рябого курбаши кто ловить будет? Пушкин? Алишер Навои? Да?

— Никто не будет ловить, — засмеялся Саидка. — Сам придет к нашему учителю и скажет: «Эй, учитель! Возьми, пожалуйста, меня к себе, сад буду караулить,

урюк и кишмиш сушить буду. Сказки твоим малышам рассказывать тоже буду. Возьми».

Мальчишки смеялись. И, казалось, веселее всех было Саидке. Он присел на корточки, растопырил руки и, запрокинув голову, прыгал как лягушонок. Смеялся он потому, что в этой шутке теперь жила его мечта. Привычно взглянув на солнце, он заторопился.

— Пойду. Дело есть. Да? — он глядел на Иргаша, словно выпрашивая у него позволения покинуть сад. — Работу надо скорее делать. Мой дивона давно ждет. Ругать будет.

И, шлепнув ладонями по черным от природы и солнечного загара ногам, побежал к калитке, что-то радостно покрикивая.

БЕСПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Время бежало с такой скоростью, что даже саитбаевский ИЖ не в силах был угнаться за ним. Каждый час появлялось что-нибудь новое. А новое — работа для Саитбаева, и порой нелегкая.

Сегодня он встретился на дороге с однокашником Махмудовым — работником райкома партии. Постояли минуту-другую.

— Позавидуешь тебе, Алимджан, — сказал Махмудов. — А у меня голова идет кругом. Хлопчатник обрабатывать надо, в садах фрукты осыпаются и гниют, виноградники, бахчи — все пить просят. А тут то ураза*, то паломники на «святые» места отправляются, ишаны и духовники их туда тащат. Надо полив делать, а мирабы* лежат где-нибудь в тени. Какой из него поливальщик, когда он целый день в рот ни крошки хлеба, ни капли воды не брал? А жара плюс 40!

— Работать с людьми надо, разъяснять вред уразы, — пошутил Саитбаев.

— Вот и попробовал бы ты, да и поразъяснял, следует ли старому мирабу уразу держать или отказаться от нее, а заодно — и от ислама. Тебе хорошо: с ветром наперегонки гоняешь.

— Не завидуй, джура*, — чужая ноша всегда кажется легче. У тебя свои заботы, у меня свои, и тоже хватает...

Он только что вернулся из поездки в Шахимардан, собрался пойти поужинать, но не тут-то было! Во дворе его перехватил дежурный и сказал, что уполномочен-

ного еще днем разыскивал по телефону «катта начальник». Саитбаев поглядел на часы — время было около десяти вечера. Двор уже накрывала густая душная темнота. Для многих это время суток имеет совершенно определенное значение: пришла пора отдыха и покоя, но для оперуполномоченного Алимджана Саитбаева ночь — добрая фея. Правда, эта волшебница не всегда приносит только радости, случается так, что она вдруг оборачивается злой ведьмой. Но тут уж ничего не сделаешь... Узнав от дежурного, что на рассвете в Фергану пойдет фельдсвязь, Саитбаев решил не звонить «катта начальнику» — о чем можно поговорить по загруженным проводам кишлачных линий связи? — а послать короткое донесение о своих делах и предупредить, чтобы о нем не беспокоились. Он полагал, что дела его идут не так уж плохо.

Не зажигая света в комнате, Саитбаев открыл окно. Его опахнуло устойчивыми запахами двора: бензином, перегретыми автомобильными шинами, близостью конюшни. И вдруг что-то острое ударилось ему в лицо.

— Вот черт! — схватился он за щеку. Сперва подумал, что это какой-нибудь незрячий жук влетел в раскрытое окно и сослепу угадал в него. Включив свет, увидел на полу скомканную бумажку. Развернул ее. «Товарищ Оперуполномоченный, у нас в Ашлаке опять большой четак*: появились «волосатые», они нам совсем не страшны, и мы не боимся их, даже ни капельки. Но они могут подложить чушку Саиду Курбанову. Допустить такое безобразие нельзя никак даже, потому что Саидка от волосатиков совсем отшатнулся, и он очень неплохой товарищ. Пишут вам все ребята». Саитбаев кинулся к окну, но в темноте ничего не было видно.

— «Пишут вам все ребята», — повторил Саитбаев и, покачав головой, улыбнулся. — Хорошо, спасибо за всеобщее доверие. А не слишком ли много вы доверяете одному человеку?.. — Он вспомнил Ромку — отчаянного фантазера с темным, как глиняная плошка, лицом. Нет, Ромка бы пришел. Уж если он собрался вступить в поединок с самим корейским диктатором — не пропустил бы и этот случай, чтобы еще раз лично представиться.

Подсев к столу, Саитбаев принялся писать записку своему начальству. Теперь она представлялась ему несколько иной, чем вначале: некогда было расписывать.

Ответив двумя-тремя пунктами на предполагаемые вопросы начальства, он коротко заключил: «Все хорошо. Гости приехали. Готовим встречу. Настроение отличное». Прочитал, подумал и добавил: «Если можно, пошлите в мое распоряжение машину. Она пригодится». Запечатал и сдал дежурному.

Выйдя на улицу, он постоял несколько минут, приглядываясь к темноте, а потом повернул за угол. Постучал в калитку. Ему открыли. И уже в просторной, хорошо освещенной комнате, с большим, во всю стену книжным шкафом, они пожимали друг другу руки — Саитбаев и учитель Насыров.

— Простите за поздний визит, Джура-ака. Ничего умнее не мог придумать — вы мне нужны, —сразу заявил Саитбаев.

— Что вы! Рад видеть вас у себя в любой час. Пожалуйста, проходите к столу. Садитесь в кресло.

— Благодарю вас.

— За вами долг, уважаемый.

— Какой?! — удивился Саитбаев.

— А Саидкин тумар? О нем вы так ничего и не сказали, хотя я догадываюсь, что в нем-то и заключено нечто таинственное и, конечно, преступное.

— Насмешник вы, Джура-ака! Ну что же, можно и посмеяться.

— Шутку нельзя принимать как насмешку, ведь ваше поручение я выполнил.

— Спасибо.

— Теперь, может, раскроете этот важный государственный секрет?

Они рассмеялись. Саитбаев готов был разделить иронический настрой Насырова, но сводить весь разговор к шуткам он не хотел, да и Насыров, вероятно, ждал другого.

— Тумар — всего лишь пароль для разговора. Не такая уж большая тайна. До тайны еще далеко.

— Пожалуй, верно. Каждый мальчишка теперь знает: есть тайна — должен быть и пароль, чтобы к ней прикоснуться. Но...

— Паролем является не шестиугольник из буйволиной кожи, а молитва, скрытая в нем. Тумаров два, а молитва одна. Она разделена на две части. Совпадение текста двух ладанок и будет паролем. Видите, как просто.

— А при чем здесь Саидка?

— Владелец одной половины молитвы — а живет это состоятельное лицо не за тридевять земель, а здесь, в наших краях — по каким-то только ему известным причинам передал свой тумар другому, но уже менее состоятельному лицу — Саидке!

— Очень интересно! И Саидка знает все это?

— Конечно, нет.

— А тайна... Какая все-таки она, тайна?

— Дорогой учитель, всему свое время. Не спрашивайте... Я зашел к вам совсем по другому поводу.

Саитбаев вынул из кармана помятую, точно изжеванную, записку, с привычной осторожностью разгладил ее в ладонях и подал учителю.

— Прочтите. Может, у вас появится желание сказать мне что-нибудь?

Учитель прочитал записку и покачал головой.

— Желание, да, появилось, но... не уверен, что это будет то, что вы хотели бы от меня услышать. Я вижу почерк моего ученика. Разделяю его тревогу и только. Загадочного, а тем более таинственного, как в том тумаре, здесь ничего нет.

— Ученик ваш — Роман Пак?

— Никак нет, уважаемый! Не угадали. Почерк Романа — единственный во всей школе. Как у гениального медика. Так просто вы бы не разобрались в нем. Мне и то не всегда удается.

— По-моему, он действительно выдающийся парень.

— Но позвольте, откуда вы его знаете?! А-а, понимаю. Кстати, он не просился у вас куда-нибудь, где идет война или что-то в этом роде?

Саитбаев рассмеялся, но посчитал неудобным раскрывать мальчишескую тайну.

— До наших инстанций он не дошел, — отшутился Алимджан. — Кажется, «Пионерская правда» затирает. Ваших ребят я почти всех знаю, особенно если они чем-нибудь знамениты. И они меня знают. Чаще всего я встречаю их возле своего мотоцикла. Встречи, разумеется, самые дружественные.

— Что касается записки, — вернулся к начатому разговору учитель, — она принадлежит перу Федора Пестунова. Не знаю, как вы думаете, но мне кажется, тут нет ничего плохого. Хотя, лучше было бы подписать записку своим именем.

— Согласен с вами.

— Феде я верю. Он не столь гениальный разведчик или полководец, как некоторые из его друзей, правда, пытается не отставать от них. Но я прежде всего вижу в нем трудолюбивого ученика, увлеченного естественными науками, особенно зоологией. Это увлечение у него, кажется, потомственное — его деды и прадеды обучали на потеху людям медведей. Был такой промысел в свое время где-то в Нижегородской губернии. Что еще?.. Федя не всегда доверчив. Предпочитает верить не словам, а фактам. Иногда ошибается, но не больше, чем другие. Вы не видели зооуголок в нашей школе? Стоит посмотреть. — И хотя учитель по-прежнему намеревался представить все в шутливой манере, разговор такой ему был по душе. — Не скрою: мне приятно думать, что пройдет какое-то время и мой ученик Федор Пестунов заявит о себе как ученый, — продолжал Насыров. — Быть может, это — тщеславие провинциального учителя? Но я бы хотел, чтобы так именно и случилось. А Роман и Иргаш?... Они хорошие ребята. У Иргаша железный характер, когда он подрастет, он будет стройным и красивым, таким скорее всего подходит мундир строевого офицера. Может быть, он и станет им. А вот Роман... В его поступках яснее всего проглядывает, пожалуй, ну, как бы вам сказать?.. этакий мальчишеский авантюризм. Его увлечениям не бывает конца, он всегда как бы заряжен энергией. Такие характеры труднее всего поддаются прогнозированию; от него можно ожидать всего, что угодно. Но убежден в одном: он не сделает зла, не поступит дурно. Мне кажется, что Роман всегда думает о том, что где-то есть обездоленные люди, которые ждут его защиты и помощи.

— Насколько мне известно, вы увлекаетесь физикой? — неожиданно спросил Саитбаев. Учитель замялся от неожиданного вопроса.

— Не сказал бы. Раньше — да, увлекался, даже об аспирантуре мечтал. А теперь кое в чем помогаю ребятам. У нас есть кружок.

— Вам не приходилось выступать против... Против аллаха?

Ошарашенный еще более неожиданным вопросом, учитель глядел на своего гостя и не понимал — шутит он или говорит серьезно.

— Хотя, быть может, не так уж против аллаха, — решил уточнить Саитбаев, — допустим против какой-нибудь мусульманской святыни?

— Не приходилось, — сухо ответил Насыров. Подумал и, видимо, решил круто закончить разговор на эту тему: — Святыню лучше не трогать. Убеждения у верующего человека обычно консервативны, и чтобы разрушить их, нужны не слова, а доказательства такой силы... Ну, как вам сказать... Силы, равной мощному взрыву.

— Совершенно верно — взрыв! Салют! — подхватил Саитбаев и, вскочив с кресла, принялся ходить по комнате, отстукивая мерный шаг. — Именно такой салют мне и нужен будет. Отличная идея! Вы что-нибудь понимаете, Джура-ака?

— Не понимаю, что так взволновало вас. Быть может, я не так сказал что-нибудь?..

— Нет, нет! Пока ничего и не надо понимать. Подождите, все придет в свое время. Не торопитесь, уважаемый учитель.

«Нельзя все-таки слишком молодым парням доверять такую важную государственную работу, — подумал учитель, — они слишком увлекаются. В каждом из них сидит еще фантазер и увлекающийся подросток не хуже и не лучше, чем в Романе Паке». А Саитбаев между тем продолжал ходить широченными, как у долговязого жюльверновского Паганеля, шагами по комнате и молчаливо, но счастливо улыбался.

— Прошу вас, Джура-ака, — остановился он перед учителем. — Займитесь серьезно вашим физическим кружком. Это моя просьба. А Федю возьмите к себе помощником. Ассистентом. Займитесь опытами, самыми интересными, волшебными... Но уговор: ни слова! И Федю приучите к порядку. Между прочим, уметь молчать — для школьников тоже неплохо. А все, что нужно для опытов, — скажите. Все будет!

Учитель пытался что-то спросить, но Алимджан поднял руку.

— Ни о чем не спрашивайте. Ответа не будет. А теперь, — он взглянул на часы, — мне пора идти. До свидания!

Когда Саитбаев утонул в густой, как деготь, темноте проулка, Насыров притворил калитку и, вздохнув, прошептал:

— Беспокойный человек и немного чудак. Так и не дал поговорить мне. А поговорить надо было. И о Душанбе ничего не узнал...

МИТИНГ НА ПЛОЩАДИ

Старый Тургунбай был сердит, как мулла, облаянный кишлачными псами. Он ехал с опущенной головой и ничего не видел, кроме пыльного загривка своего ленивого ишака; он по привычке шпынял его острым концом палки в загривок и ворчал. Но ишак есть ишак. Ему, конечно, и в голову не приходило, что хозяин, несмотря на обеденный час, сегодня еще не завтракал, если не считать за еду ломоть дыни. Даже в пору строгой уразы ему не приходилось так голодать, как в эти несчастные дни. И виноват не кто-нибудь — его внучонок Иргаш! «Эх-хе, что делается с постреленком? От рук отбивается!.. — Тургунбай даже вспотел от своих трудных раздумий. Морщился и чихал от пыли, забившейся во все поры, и еще злее ворчал: — Вот и спасибо. Очень даже спасибо. Чужим людям придется кланяться в ноги, чтобы принесли старику кусок лепешки. Внуку некогда, он занят важным делом... Свой пост я не могу оставить по такому личному поводу. А что делать?.. И что ты думаешь, старый чапан: порядок это или беспорядок? Где ты видел, чтобы внучата поступали так неуважительно со своим дедом? Никогда такого не



было! И родители не замечают... Вот я пожалуюсь учителю, тогда он у меня запрыгает, негодник. Прощения будет просить. А я еще подумаю, стоит ли его прощать...»

С тяжелыми мыслями Тургунбай въехал в родной кишлак. И бросилось в глаза ему — безлюдье на улицах. Даже собак, проклятых аллахом тварей, не слышно и не видно. Что случилось? Неужели полуденный зной разогнал всех людей по прохладным углам? Нет, так не бывает. А вот и чайхана над арыком, здесь всегда отдыхают закоренелые чаевники, но почему-то и она закрыта. Даже самоварным дымком не пахнет.

Тургунбай в сердцах огрел палкой ишака и труской рысцой засеменил навстречу тревожной неизвестности..

Но за первым же поворотом нежданно-негаданно вырос перед ним его провинившийся внук. Тургунбай придержал ишака и занес уже над головой кулак, чтобы погрозить Иргашу. Но тот опередил его.

— Дедушка, не ругайтесь! Чистосердечно признаюсь — виноват! Потом все объясню. У нас такие дела!.. Возьмите газеты. Возьмите! Я очень спешу. Учитель поручил раздавать их всем и каждому...



Иргаш сунул в руки все еще сердитого деда газеты и помчался.

— Совсем с ума спятил! — крикнул старик. — Куда мне столько? Дыни покрывать, что ли? А перепелки мои политикой не занимаются. Мне одной хватит!

— Вы потом все поймете, — кричал Иргаш, запихивая под мышку оставшиеся газеты. — Скорее — на площадь! Там все-е!..

— Эх, какой бестолковый мальчишка, и это мой внук называется, — проворчал Тургунбай.

Тихая в обычное время кишлачная площадь предстала его удивленному взору шумным базаром, в напряженной сутолоке и в ослепительной пестроте красок.

— Аллах милостивый, уж не беда ли стряслась какая, — тревожно прошептал старик. — Так было здесь в тот несчастный день, когда Гитлер напал на нашу страну. Да еще — в День Победы. И чего Иргаш не объяснил толком? Сунул газеты и удрал, а что я могу прочитать в них да еще без очков? Ох, парень...

Тургунбай оставил возле арыка ишака и стал пробираться поближе к трибуне, которая возвышалась над площадью, как пожарная каланча. Ему хотелось разглядеть, кто там стоит — уж не приехал ли какой большой начальник из Ферганы или из самой столицы — Ташкента? Но когда он наконец протискался настолько, что мог разглядеть тех, кто был на трибуне, удивление его сменилось досадой. Там стояли два человека: учитель Джура Насыров и «волосатый», которого мальчишки называют Душанбой.

— Хмы, а что же будет дальше?.. — Он повернулся к стоявшему возле него магазинщику, прикрывшему голову огромным листом лопуха, и проворчал: — Зачем столько народу собралось? Какая невидаль?..

— А вы разве не слыхали, Тургунбай-ака, человек, который с учителем, — бродячий дервиш, — сказал магазинщик. — Много лет состоял в тайной организации «волосатых ишанов», а теперь одумался, порвал с ними да еще и в газету написал об этом. Пишет, что зря будто бы и аллаху верил. Призывает последовать за ним. Вот вам и «братья дьявола»!.. Все напечатали. Башка, оказывается, работает у него, Тургунбай-ака.

— Башка для того и дана аллахом грешному человеку, чтобы работать и наставлять его, дурака, на путь истинный, — угрюмо бросил Тургунбай и отвернулся. Учитель что-то говорил, взмахивая рукою, но голос его

не долетал сюда. Тургунбай еще немного протиснулся вперед.

Когда Джура Насыров кончил свою речь, вперед вышел Алихан. Поклонился. Он был бледен и взволнован — это было заметно даже издалека. Толпа затихла в тревожном ожидании.

— Уважаемые!... — начал Алихан, с трудом преодолевая волнение. — Вы прочитали газету... Теперь вы имеете возможность видеть меня — обманщика и вымогателя, который многие годы жил вашим доверием, ел ваш хлеб, пил ваш чай, а платил вам за добро злом. Каюсь перед вами. Можете наказать, можете простить — воля ваша. Я заслужил и презрение и наказание. Еще хочу сказать два слова тем, кого ишаны называют мюридами. Не служите ишанам, это — заблуждение и рабство, недостойное человека. Поверьте моей жалкой судьбе: когда-то по незрелости и своему легкомыслию я послушал ишана, принял на веру его святость и бескорыстие. Какая святость?! Все они, ишаны и их подручные хальфы, — мошенники и тираны. Радуюсь тому, что они доживают свой позорный век: их все меньше остается на нашей земле, но они еще есть. Да, есть! Своим невежеством и шарлатанством они мешают людям работать, жить, воспитывать детей. Конечно, трудно переступить порог традиций и обычаев — я хорошо понимаю это. Тяжело сказать правду себе и людям, но это легче, чем творить ложь. Я пришел сюда не агитировать вас, а сказать честно и открыто о том, что навсегда порываю с «волосатыми», но этого мало — я порываю с тем, во что верил и призывал верить других. Делаю так потому, что хорошо знаю, кто такие ишаны. Обманывая людей, проповедуя ложь, они живут за счет ближнего своего, за счет раба своего, за счет вас, уважаемые. Рабство давно отвергнуто человеком, но религия, и особенно дервишские секты ислама, проповедуют и сохраняют его. Значит, оно необходимо им. Для чего? Подумайте... Я совсем не призываю вас отказаться от того, во что вы верите. Я говорю о себе и каюсь в своих грехах перед вами. Но я уверен, что и вы когда-нибудь придете к такому решению. Ложь не бессмертна!

Возглас Алихана потонул в живом прибое голосов. Тургунбай, толкаясь локтями, стал пробираться назад, чтобы поскорее выбраться из жаркой тесноты на свежий воздух. «Правильно он поступил, что ушел от этой

грязной свиньи Мадарипа. Одобряю, — думал Тургунбай, всегда презиравший косматых бездельников. — А вот зачем отрекаться от веры? Разве можно не признавать аллаха? Нехорошо. Неправильно... А-а, что можно ожидать — он сам из таких же шалопаев, как и Мадарип. Все они одинаковы. С контрреволюцией путались. Курирмату помогали...»

Тургунбай — простой мусульманин. Он верил, как может верить старый человек, принявший эту веру с молоком матери, от далеких и близких предков своих, и никогда не помышлявший о том, что можно не верить. Даже в смутное время, когда басмачи поносили всех, кто их не поддерживал, страшным словом «кяфиры», «безбожники», Тургунбай и тогда верил, что аллах не только существует, но и неизменно управляет жизнью: одним помогает, других наказывает. И как не наказывать тех же «волосатых», когда они служат не богу, а сатане? Но он совсем не задумывался о том, что неверующих и откровенных безбожников становится куда больше, чем верующих.

Вытирая полой халата потное лицо, Тургунбай еще раз взглянул на трибуну, что-то проворчал и пошел, но тотчас же почувствовал на плече чью-то руку. Обернулся — возле него стоял Алимджан Саитбаев.

— Салам алейкум, Тургунбай-ата, — тихо поприветствовал Саитбаев. Тургунбай слегка поклонился и невнятно пошевелил губами.

— А вы говорите, что все они негодяи, — ухмыльнулся Саитбаев. — Оказывается, из них могут быть неплохие агитаторы. Что вы скажете?

— Ничего не скажу, сынок, — печально вздохнул старик. — Вы больше знаете. Я старый человек. По своим годам я уже пережил пророка.

— Ну это не так уж много, — заметил Саитбаев, — Мухаммед прожил всего шестьдесят три года.

— Мне семьдесят! — Тургунбай помолчал, разглядывая довольное лицо Саитбаева и, кивнув головой в сторону трибуны, спросил: — Ему-то — должность теперь дадут ответственную или что?

— Не знаю. Наверно, все от него будет зависеть.

— Так, так. Смеешься?.. Я ведь тоже кое-что понимаю, сынок. Начальником хочет быть. Все хотят быть начальниками. Конечно, кожаную сумку легче носить под мышкой, чем кетменем махать. И денег в кармане

побольше. Все магазинщики и чайханщики тебе издалека кланяются и кричат: салам алейкум! Разве плохо? Хорошо...

Саитбаев засмеялся откровенно и весело. Тургунбай покачал головой и пошел к своему ишаку, который, подогнув ногу, понуро стоял у дерева.

СОВЕЩАНИЕ

— Докладывай, Сергач, твое слово, — распорядился Иргаш и взял из корзины яблоко.

— Чего докладывать? Газеты раздал, ни одной не осталось.

Яблоко оказалось жестким и зеленым, как маргиланская редька. Иргаш сморщился.

— Чего замолчал? Докладывай, кому раздал? — повысил он голос.

— Старикам в первую голову, старушкам.

— Правильно, — одобрил Иргаш.

— В Павульган тоже ходил, две газетки передал в крайнюю кибитку, где Саидкина тетка живет. Сама вышла, газетки взяла, а лицо закрыла краем чапана и говорит: «Ай-испасибо, ай-испасибо». Поглядела на меня так, будто я пришел к ней куриц воровать, а не по серьезному делу. Калитку захлопнула, чуть нос мне не прищемила. И еще долго чего-то ворчала, там, за дувалом.

— А самого не видел, Мадарипа?

— Не видел. Еще одна тетка на супе* сидела, посуду чистила. И сколько у него этих теток?

— Можно мне, Генерал? — спросил Ромка.

— Давай.

Федя поглядывал на Иргаша, на его серьезное непроницаемое лицо, на жесты, такие же волевые и строгие, как у взрослых, и про себя размышлял: «Ну и Генерал — прямо катта начальник...» А Иргаш, подсунув под себя ноги, внимательно слушал, прислонившись спиной к дуплистому стволу орехового дерева.

— Самому кары Максуду одну газетку втолкнул, — не без бахвальства рассказывал Роман. — Пришел в мечеть. Ну, меня, конечно, туда не допустили, прогнали с треском. А я говорю им: у меня дело важное. Меня сам финотдел к вам послал. Испугались. Кары выскочил из мечети, тут я ему и отдал и сделал вот так ручкой.

— Пускай читает, — одобрительно заметил Иргаш.

— Хотел Муслиму-дивоне дать газетку, не вышло. Увидал меня, бросил свои кирпичи и давай дураком прикидываться: прыгал, головой мотал, а потом рожу мне состроил. Нахал! Если бы не доводился он родственником Саидке, я бы поговорил с ним! Саидка сам выбежал, ему я рассказал, какие важные дела у нас происходят. Одобряет, говорит, что у него все хорошо. А вот отец пока еще не в своей тарелке. Увидит человека — дурь на него нападает. Это его уловочки. Подозрительно себя ведет. И волосы не обстриг, все еще косматый...

— Про Душанбу что говорят люди — не знаешь? — прервал Иргаш.

— Чего говорят? Всякое говорят, — Роман почесал затылок, подумал и сказал: — Один старик — в Зеленом тупике он живет, на самом овраге — сказал, что Душанба совсем не Душанба, а черт в штанах. Аллах все равно сыщет его и покарает. Смешно даже, правда? Чего же раньше-то аллах не находил его, а мы нашли? Ну, я провел беседу с темным старичком. Говорю ему: ошибаетесь, дедушка, не черт это, а настоящий Душанба, хороший и правильный человек, перевоспитался, а был таким же темным, как вы. Не знаю, поверил —нет? А напоследок сказал мне: «Знаешь, сынок, ты лучше расскажи мне стишок про зайчика. А я послушаю, очень люблю такие стихи слушать». Старый, а чудак какой-то. Политики не понимает. Я сказал ему: «Не умею про зайчика. В садике такие стишки рассказывают, а я в шестом классе учусь». Он посмеялся и ушел. А бабка Ойдын сказала, что хорошо сделал Душанба — написал в газету и постыдил «волосатых». Так им и надо, только вот от бога он отрекся — это плохо, похвалить его нельзя. Ну бабка — что она? — почти совсем неграмотная, умеет только расписываться и то по-арабски. Вот рабочие на хлопзаводе — эти правильно говорят.

— Чего говорят?

— Ну что Душанба такую мировую статейку напечатал. Говорят: молодец, смелый человек. Трус не пошел бы против ишанов. Только они тоже немножко хитрые: говорят, теперь ему надо хорошим делом... Понимаешь?

— Конечно. Джуре Насыровичу скажем. А он уж знает, как поступить.

Роман закончил, добросовестно выложив все свои

наблюдения. Федя молчал и сухим прутиком рисовал на земле какую-то диковинную птицу, какой он, наверное, мечтал украсить живой уголок. Но мысли его в эти минуты, кажется, были далеки от птиц и живого уголка — рисунок сам по себе выползал из-под прутика, — думал он об учителе. Вот уже два вечера подряд Джура Насырович вызывает его в школу и показывает, как ухаживать за аккумуляторными батареями, как пользоваться взрывчаткой, как тянуть провода, и много всего другого. Зачем все это делал он, Федя не догадывался, а учитель помалкивал. И кроме того, взял с него честное пионерское слово молчать — никому! Почему нельзя сказать даже своим ребятам? Не станешь же допытываться. Учитель знает, что делает.

Иргаш был доволен: задание выполнено, газеты розданы. Правда, теперь они знают кое-что еще, такое, что не может радовать их. Оказывается, не все люди одобряют поступок Душанбы. Как можно не соглашаться с Душанбой и даже еще ругать его за хорошее дело? Чудные же есть люди. И Иргаш, с раздражением думая об этих «чудаках», сказал:

— Собрать всех стариков и старушек в школу — пусть учатся, если раньше царь не давал им учиться, басмачи и всякие неприятные личности.

— Теперь их не выучишь, — заметил Федя.

— Памяти у них нет, руки дрожат, как писать будут? Глаза тоже плохо видят, — сказал Роман.

— Джура Насырович научил бы, — не сдавался Иргаш. — Он бы им растолковал.

Иргаш вспомнил своего деда и пожалел, что не довелось вчера поговорить с ним после митинга. Старик был чем-то огорчен и сердит. Натолкал в хурджум всякой всячины и уехал.

— Ты, Ромка, заходи каждый день к Саидке. Такое тебе поручение, — сказал Иргаш. — Поглядывай, как у него дела идут. Чтобы опять не сагитировали его. Отдавать Саидку «волосатым» нельзя.

— Он сам не пойдет к ним. Ручаюсь чем хочешь!

— Ручаешься, а все равно надо смотреть. И Душанба беспокоится. Замечал?

— Нет.

— А я замечаю. Переживает, а молчит. Сказал бы нам все, что у него там есть. Боится чего-то.

— Джура Насырович понимает его, — заметил Федя, — они разговаривают.

— Ему стыдно, что он дурил, народ обманывал, голышом шлялся. Хорошо, что ли? Он ведь большой. Мне бы и то стыдно было, — сказал Роман. — Я бы, наверно, тоже молчал.

— Сразу всего не узнаешь, — заключил Иргаш. — Подождем. Куда нам торопиться. Он теперь не в тугаях, а с нами...

ВСТРЕТИЛИСЬ

Хажиусман ходил из угла в угол по сумрачной мехмонхоне*. Он уже несколько дней сидит в запустелой, пропахшей сыростью и мышами комнатенке с единственным окном, выходящим на пустынный, без единой травинки внутренний двор. Порой ему кажется, что он в ловушке, как обессиленный, загнанный зверь, и тогда каждый незначительный шорох отдается в нем острым ударом. Он вздрагивает и настороженно ждет, взглядывая то на дверь, то на изорванную газету со статьей Алихана Рузыева, брошенную к порогу.

— Какой же бездельник этот Мадумар, тянет и тянет, — бормочет Хаджиусман. — Не могу поверить, что так трудно связаться с ишаном...

Он подходит к окну и осторожно, как вор, высовывается из-за косяка. Но из окна виден все тот же клочок серого двора да корявый ствол шелковицы, по которому торопливо бегут вверх-вниз муравьи — листвы не видно, она едва слышно лопочет где-то над крышей. Ни одной живой души. Даже кошка не пробежит за целый день.

— Ох-хо, и сам этот безрукий черт забегает только на минуту, чтобы принести еду... Боится или хитрит... Говорит, что хальфа все еще не вернулся от ишана. Верить или не верить?..

В доме послышался неразборчивый говор, словно где-то в далеком углу загудели шмели. Хаджиусман ощупал нож под полой. Через минуту отворилась дверь мехмонхоны и появился сперва Мадумар, за ним лохматый оборванец с петухом под мышкой. Хаджиусман сдержанно ответил на приветствие. Этого бродягу он уже видел однажды на перекрестке. И сейчас он пытал его строгим прицельным взглядом. Взаимно не доверял ему и бродяга. Мадумар, приглядываясь к тому и другому, сказал:

— Это — Рауф-хальфа, он лучше меня может от-

ветить на ваши вопросы, уважаемый Хаджиусман. А я отлучусь ненадолго. Извините, — он взмахнул пустым рукавом и вышел.

Рауф-хальфа посадил у порога петуха и погрозил ему пальцем.

— Сиди смирно. В этом благословенном доме нельзя вольничать, — сказал он и, кряхтя, уселся рядом с петухом. А Хаджиусман не отрывал глаз от гостя и будто огорчался, что не может заглянуть туда, где у человека таятся его слабости и грехи. Но то, что нужно, он заметил — амулет, заветный тумар на бурой, как голенище старого ичига, шее бродяги. Между тем Рауф-хальфа, кажется не собирался начинать разговора. Он добыл из-за пазухи кусок лепешки, сдунул с него пыль и стал грызть.

— Вы голодны?

— Хэ, вы еще спрашиваете? Я никогда не был сытым, — проворчал Рауф-хальфа. — Неужели Мадумар-ака не догадается устроить хоть маленькое угощение, как вы думаете?

Хаджиусману не понравилось нахальство бродяги. Он резко заметил:

— Гостю грешно вмешиваться в дела хозяина дома! — и протянул руку, чтобы снять с шеи Рауфа амулет. Но тот отпрянул к стене и халатом прикрыл шею.

— Откуда у вас этот тумар? — спросил Хаджиусман.

— Аллах знает.

Хаджиусман, помешкав, подал хальфе свой амулет-тумар. И только после этого Рауф-хальфа подал ему свой. Хаджиусман разрезал ножом по шву амулет и извлек из него кусочек пергамента, на котором была написана молитва. Он старался быть спокойным и важным, как подобало быть в столь серьезном случае лицу высокого звания, но внутреннее волнение выдавало его.

— Где Мадарип-ишан? — спросил он.

Рауф-хальфа вытряхнул из рукава газету и подал ее гостю.

— Это мне известно! — резко бросил Хаджиусман. — Удивляюсь, что среди вас есть такие выродки!

— Ох-хо, на все воля всевышнего, — набожно вздохнул Рауф-хальфа и упрятал в свои лохмотья недоеденную лепешку. — Ишан-ака день и ночь молится и просит ниспослать на голову кяфира возмездие... Тяжелое и греховное время наступило, уважаемый таксыр.



Рауф-хальфа говорил тихо, неожиданно обмягшим богобоязненным голосом. На глаза навертывались слезы, и он стирал их грязным засаленным рукавом.

— Вы плачете?

— Как же не плакать, уважаемый?! — воскликнул Рауф.

— Успокойтесь. Когда я увижу его?

— Не сегодня и не завтра. Нет у меня на это его благословения. После всего, что случилось, он должен пребывать в покое и подальше от глаз кяфиров. Ишан-ака знает, что вы, благодарение всевышнему, на нашей земле, и повелел передать вам, чтобы во всем полагались на меня. Из наших сюда в ближайшие дни никто не придет. Все будут молиться и ждать, пока аллах не укротит бесовские силы врагов наших.

— А вы?! Почему вы не с ними? — испытующе глядя в глаза Рауфу, спросил Хаджиусман.

— Э-э, меня никто не считает за человека, любезнейший, — Рауф-хальфа снял с головы шапку и добыл из нее бумагу. — Вот здесь все написано.

То, что подал Рауф — была справка с печатью и подписями, в которой говорилось, что Рауф Ахмедов — душевнобольной человек, без определенных занятий и

места жительства. И поскольку болезнь его не опасна для окружающих — он подлежит направлению в дом престарелых. Хаджиусман, дивясь, покачал головой.

— Мудро сработано. Хорошо.

— Схватили меня в тот день, когда кяфиры напали на наше святое прибежище, — продолжал Рауф-хальфа, поглядывая из-под седых нависших бровей на собеседника. — У них, проклятых, есть нехорошая привычка: отправлять всякого в святом облике человека в сумасшедший дом. Страшно быть в таком доме, уважаемый. Я больше не желаю попадать туда. Н-нет, спаси аллах...

Лицо Хаджиусмана точно окаменело. Сколько препятствий вставало на пути! Если бы Куриpмат знал или мог предвидеть хоть малую часть этих дьявольских препон, он не послал бы его в свой смертный час на такое испытание. Здесь, в стране безбожников, ни на что нельзя опереться. Никому нельзя верить. Старый бродяга Рауф-хальфа, которого Хаджиусман ждал с таким нетерпением, не только не успокоил его, но вызвал в нем еще большее раздражение и подозрительность. Хотелось наговорить Рауфу кучу грубостей и оскорблений, а еще лучше отхлестать его по щекам. И все только за то, что он, ничего не приукрашивая, говорит черт знает какую и чью правду. Да, после такой встречи нельзя слепо идти за своими желаниями. Нужна осмотрительность.

Хаджиусман подошел к окну. Во дворе суетился Мадумар. В окно потягивало успокоительно-сладким душком жирного плова. Хаджиусман повернулся и спросил:

— Какое поручение дал вам Мадарип-ишан?

— С вами быть, уважаемый, — ответил хальфа. — Если вы пожелаете — сводить вас на Шахимардан, на святой родник Сят-кяк, чтобы целебной водой его смыть пыль дальней дороги, поклониться могилам блаженных имамов, побывать на святом мазаре Абубакира, на котором живет угодный аллаху хромой отшельник Тимур. Куда прикажете — я ваш слуга.

— Тимур?! — воскликнул Хаджиусман. — Вы сказали: хромой отшельник Тимур?

— Именно так я и сказал, — подтвердил Рауф-хальфа. — Его все зовут Тимурленгом, как того великого полководца. Но он — эх, какой он полководец, совсем дряхлый шейх, живет на мазаре и ждет, когда...

— Тимур... Хромой Тимур... — лихорадочно повторял Хаджиусман, будто силился вспомнить что-то важное, но уже позабытое. — Не тот ли Тимур, о котором мне говорили когда-то?.. Но его давно считают умершим.

— Нет, он жив, слава богу. И плохого о нем ничего не могли сказать вам, — Рауф-хальфа настороженно прищурился. — Кто может сказать плохое и неуважительное о таком человеке, которого Курирмат знал, Мадаминбек знал. Самые храбрейшие курбаши, какие на Фергану и Вуадыль ходили, хорошо знали его. Мадумар-ака тоже знает его.

Хаджиусман воспрял духом, повеселел. Волнение, какое сковывало его все эти дни, постепенно улеглось. Даже Мадумар заметил отрадную перемену в настроении гостя, когда зашел в мехмонхону с полотенцем и стопкой лепешек.

— О, я вижу вы так разговорились, что и о еде забыли! — воскликнул он. — Одними речами сыт не будешь... Помогите мне, уважаемый Рауф-хальфа, принести сюда казан с пловом.

— Это можно!

— Плов от нас не уйдет, любезный хозяин, не торопитесь, — предупредил Хаджиусман. — Мы скушаем его и отблагодарим вас достойным образом. Перед пловом кое-что сказать надо: почему вы не напомнили мне о Тимуре? О хромом Тимуре, который охраняет мазар святого Абубакира?

— Простите меня, старого осла: забыл! Голова стала совсем дырявая, как решето. Виноват... Да и человек он маленький, ничто от него не зависит — кто вспоминает такого?

— Когда можем тронуться в путь? — не слушая болтовню Мадумара, спросил Хаджиусман.

— Пусть он скажет! — Мадумар метнул взгляд на хальфу, как на виновника неожиданной перемены в поведении гостя.

— Сегодня нельзя. Завтра тоже нельзя, — вслух соображал хальфа, будто раскладывал перед собой игральные карты. — А потом что? Так... Надо посмотреть хорошенько, не следят ли за нами. Вы, Мадумар-ака, поглядывайте хорошенько кругом и все примечайте.

— Опытный вы человек, Рауф-хальфа, — заметил Хаджиусман. — Хвала вам за это. И прошу прощения, что поначалу мне показалось...

— А как же! Жизнь учит, уважаемый...

И не успел он закончить своей мысли, как ни с того ни с сего встрепенулся петух, захлопал крыльями и загорланил, точно на заре, оглушив всех пронзительным криком. Хаджиусман в страхе отступил к стене.

— Не бойтесь! — вскрикнул хальфа и весь просиял от радости. — Святая птица говорит, что все будет хорошо. А она знает!

ТО́СКА

Выступление Алихана так встревожило Тургунбая, что он не находил себе места. За что ни возьмется — всюду мерещится Алихан. Он слышит его голос, видит его лицо. Старика охватила тоска, и, чтобы уйти от нее подальше, он быстро собрался и уехал из кишлака. Но тоска не покидала его. Он медленно пылил по дороге, а тоска, казалось, сидела у него на загорбке и тихо с ним разговаривала. И тогда он сам начинал разговаривать, чтобы заглушить соблазнительно-вкрадчивый голос тоски.

— Х-хе, ни один кишлачный духовник еще не отрекся от святой веры, — рассуждал старик, подтыкая пятками едва не засыпавшего на ходу ишака. — Своими глазами видал на площади имама Бекмурата и кары Максуда, они слушали и молчали. Что, им сказать нечего? Ишь какой смелый нашелся! Вперед выскочил. Э-э, чего с него взять, с «волосатого» шайтана. Вера их-няя — басмачья дурь. Разве можно назвать его правоверным? Кяфир, самый поганый кяфир. Потому он так легко и отрекся от своей веры...

Тургунбай добыл из-за пазухи тыквочку-табакерку, высыпал на ладонь щепоть темно-зеленой массы насвая и, закинув под язык, ненадолго умолк, точно подавился.

— И раньше всяко было, но не помню, чтобы духовники отрекались от аллаха. Не помню, — размышлял он, печально поглядывая на свою тень, которая шла за ним по обочине дороги. Сплюнул табачную зелень, опять задумался и уже ни на что не глядел; дремотно слипались глаза, разъеденные пылью. Споткнулся ишак.

— Нечистая сила! — выругался Тургунбай и ткнул ишака кулаком. — Как только на этой скотине пророк ездил! Сейчас каждый маленький начальник на «Победе» катается... Вай-вай, а может, Алихан не такой уж грязный кяфир? Может, напрасно ругаю его, зло свое

тешу? «Волосатый» — ну и что?.. Теперь-то он человек как человек. Волосы остриг. Дыры, какие на нем были, залечил. Ведет себя хорошо, не то что мулла Умурзак, хоть лицо и духовного звания, а кукнар глотает, анашу* курит, как последний базарный маклер. У Алихана нет такой мерзкой привычки. И голова у него исправно думает. Уж в этом я сам убедился.

За вихрастыми холмами садилось солнце. С небогатых, истомленных зноем пастбищ снимались стаи степных рябков-туртушек. Шумными волнами летели они к тугаям, на свои исконные водопои. Тургунбай остановил ишака и долго глядел, прислушиваясь к свистящему шелесту крыльев.

— Жажда томит птицу, — прошептал он. — Жирная стала. Три-четыре раза на водопой летает... А мне и поохотиться недосуг, и туртушьего плова не отведаешь нынче. Совсем закружился с этой канителью проклятой...

Подъезжая к бахче, он еще с дороги заметил беспорядок в своем хозяйстве: пес сидел на самом горбу холма, в стороне от навеса, и устало тявкал негромким осипшим лаем. Похоже было, что кто-то нарушил дремотное одиночество собаки.

Отпустив у межи ишака, Тургунбай, слегка прихрамывая, направился к навесу. Пес, словно бы жалуясь, с визгом кинулся к его ногам. Тургунбай отшвырнул собаку и заглянул под навес. Там был Гузархан-хальфа. Он лежал на спине, но не спал. Тургунбай, сразу узнавший гостя, даже выругался от досады:

— Принесла нелегкая!.. Очень мне нужно возиться с этими шалопаями, натрясет тут мне вшей целое стадо. Не до них, от своей печали не знаешь куда деваться... Заболел, что ли? — уже не так строго закончил он, разглядывая гостя.

Гузархан тихо стонал и прижимал к груди распухшую, тяжелую, как полено, руку, высвобожденную из рукава халата. Заслышав голос, он поднял голову и уставился на Тургунбая безумными, лихорадочно блестевшими глазами.

— Не узнаете, аксакал? — спросил он, задыхаясь.

— Где мне, грешному человеку, знать всех святых, — сердито ответил старик. — Недосуг, у меня работа есть. Аллах вам судья.

— Верно, ни к чему знать... Мне ничего не надо от вас. Ничего... Велите уйти — уйду.

— Куда на ночь глядя? Лежи уж, бог с тобой, пра-

зедник... Ты меня не стеснишь и не испугаешь. Я вас всяких видал...

Тургунбай повесил на таганок чайник и разжег под ним огонь. Пес успокоился и, моргая недружелюбно глазами, улегся недалеко от костра. А старик ходил по бугру и неприметно делал свое обычное дело. Не сидеть же возле «волосатого»! Говорить с ним не о чем. Но он так или иначе каждую минуту напоминал о себе: стонал, охал или вдруг начинал бормотать что-то болезненно и бессвязно.

— Неладно с ним...

Когда вскипел чайник, Тургунбай налил пиалу крепкого чая и подошел к Гузархану.

— Промочи немножко во рту — легче будет, — сказал он. — Сильный жар у тебя. А вот какая болезнь — не знаю, я только караульщик колхозной бахчи, а не табиб. Завтра придется к доктору поехать. Потерпи, ночь пролетит быстро...

Тургунбай, приподняв голову Гузархана, попытался напоить его чаем, но тот, сцепив зубы, отвернулся. Слабый, неровный свет от костра падал на сильно исхудавшее лицо Гузархана, оно казалось несвеже-зеленым с глубокими провалами вместо глаз.

— Несчастный, — тихо проговорил Тургунбай, не зная, что делать. — Рука распухла. Может, змея укусила, а может, — каракурт... И масла с настоем этих тварей у меня нету, чтобы намазать...

Гузархан впал в беспамятство: сперва он тихо бормотал, потом стал кричать, призывая кого-то на помощь. Затем расплакался, как женщина, убитая горем. А Тургунбай ничего не мог сделать, чтобы облегчить страдания больного, сидел и думал: «Пусть поплачет, честная слеза очищает душу. Человеку от слез легче бывает».

— Нет... Не-ет! — хрипел Гузархан и отмахивался здоровой рукой, точно на него надвигались полчища призраков. — Нет, аксакал, я больше не пойду туда. Здесь останусь. Вы не прогоните меня?.. Я знаю: вы не посмеете прогнать...

— О чем ты говоришь, несчастный? Кто может лишить человека крова, когда его постигла беда?

— Лишить крова?.. — На Тургунбая глядели страшные, налитые безумием глаза. — Грех на мне, аксакал. Грех... Мой пир не простит меня.

— Кто? Мадарип-ишан? Кому нужно его прощение — тоже святой пророк!

— О, вы ничего не знаете, богохульник. Зачем я говорю с вами, с грешником. Вы пропадете, погибнете во грехах... Ох, тяжело... — Он чуть приподнялся, уставившись на Тургунбая, закричал: — Молись, аксакал! Проси аллаха, чтоб он продлил мою жизнь. Я еще могу, я пока нужен...

Тургунбай молчал, он словно бы растерялся от этой неожиданной просьбы.

— Ну проси же аллаха, аксакал. Молись!

— Мне жаль тебя Гузархан, ты такой же человек, как и все, я готов помочь твоему горю, — наконец ответил Тургунбай. — Но признать в тебе правоверного мусульманина не могу, и молиться за тебя не стану — сам молись за себя, или муллу попроси, он ближе к богу. А уж что заслужил, то и твое.

— И ты отказываешься? Будьте вы все прокляты!..

Он опять зарыдал. Собака взбежала на бугор и завыла протяжно и жутко. Тургунбай кинул в нее палку.

— Замолчи, бездушная тварь!..

Ближе к полночи Гузархан успокоился и только чуть слышно стонал.

— Отдохни немного, может, полегчает, — проворчал Тургунбай, располагаясь возле костра на камышовой циновке. Он не подумал в эту минуту, что то были последние вздохи Гузархана. Буйно и неистово жил Гузархан, а умирал тихо, словно встретил наконец свою судьбу, которую долгие годы искал в суетном мире.

ЧТО ТАКОЕ?

Плохо спал ночью Иргаш: чудились ему какие-то неопрятные бродяги с гривастыми космами. Накануне ребята были на бахче у дедушки Тургунбая и хоронили Гузархана. Были там учитель, доктор Мирзакул и Душанба. Душанба не произнес за весь день ни одного слова, был рассеян и задумчив, и никто не знал, что творилось у него в душе. Гузархан умер от заражения крови — так сказал доктор. Какие-то зловредные, не видимые простым глазом микробы умертвили такого сильного и здорового человека. Настроение у всех было подавленное. Умер бы Гузархан где-нибудь там, на островке посреди гиблого Ажал-балчика, никто бы и не заметил, а то колобродил всю жизнь, безобразничал, людей обманывал, а умирать пришел все-таки к ним, к людям.

Роман немножко, кажется, даже испугался. Когда возвращались домой, он всю дорогу только и говорил о том, что никогда больше и близко не подойдет к «волосатым», потому что у них «заразная кровь», все они грязнули, хуже бездомных псов, которые дрожат на помойках. Но Роман такой уж человек, и говорит всегда так много — всего не переслушаешь. Поэтому Иргаш не придавал значения его разговорам, а шел и думал о своем. Он вспомнил короткий разговор с дедом.

Когда недалеко от бахчи в зарослях черной полыни поднялся песчаный холмик, Тургунбай вздохнул и сказал:

— Ох-хо, милосердный аллах, прими несчастного грешника. Какая у него, у бродяги, жизнь была? Мука бесконечная. Прости уж его, нечестивца. Похоронить — и то как правоверного не похоронили: закопали, как собаку, и ладно.

Иргаш, слушая рассуждения деда, тихо и не без хитрости спросил:

— Дедушка, а вы когда-нибудь видели аллаха своими глазами?

— Не болтай чего не следует! — прикрикнул старик и даже испугался такого нелепого вопроса. — Учишься, книжки всякие читаешь и ничего не смыслишь. Аллах не колхозный раис* — думать надо!.. Кто может видеть аллаха? Никто. Один пророк, и тому довелось немного: раз видеть и один раз поговорить.

— Значит, неправда.

— Что — неправда?

— Все неправда.

— Замолчи, пока я не надрал тебе уши! — прикрикнул дед...

И вот сегодня утром, едва проснувшись, вспомнил этот неприятный разговор с дедом и задумался, стараясь понять: осердился дед на него или пропустил все мимо ушей, как чаще всего случалось с ним.

— Конечно, неправда. Аллах только мешает людям,— прошептал он и, потягиваясь, сладко позевнул. — Вот Гузархан...Он бы мастером спорта мог быть. Защищал бы честь нашей республики. Ездил бы в чужие страны... Эх, такой богатырь, а отчего умер? Безобразие...

Иргаш накинул на плечи старенький халат и вышел на улицу. В селении было тихо и прохладно, пахло дымом и парным молоком; в конце улицы клубилась и все застилала пыль — там только что прошел колхозный

табун. Иргаш хотел уже вернуться домой и поваляться еще немного в постели, как услышал мерное постукивание копыт. Обернулся. По теневой стороне улицы, там где протекает арык, гуськом на ишаках ехали трое. Иргаш прижался к дувалу. Одного он узнал сразу, его нельзя было не узнать. Ехал он впереди, в нелепой конусообразной дервишской шапке, из-под которой выбивались космы седых волос; под мышкой держал петуха. Но двое других — этих никогда не видел Иргаш. Один из них, тот, который ехал следом за Рауфом, был в светлом халате, какие обычно носят духовники, на голове — чалма. Он не молодой, но и не такой еще старый, как тот безрукий, который ехал за ним, замыкая караван. Иргашу показалось, что безрукого старика в серой чалме он где-то видел, но где — припомнить не мог. Мало ли таких стариков отирается по базарам, на перекрестках, в ожидании попутной машины, в чайханах. И если бы среди них не оказалось того, уже известного «волосатика», Иргаш, конечно, и не посмотрел бы в их сторону. Но теперь все представлялось в другом свете.

— Что такое? — прошептал Иргаш. — Надо к Сергачу сбегать, он любит следить за «волосатыми».

Влетев в калитку Фединого двора, он пробарабанил пальцами по окну, возле которого всегда спал Федя. Но вместо ершистой Федькиной головы и облупленного носа Иргаш с растерянностью и даже с испугом увидел добродушное лицо тети Маши, Федькиной матери.

— А-а... где он?!

— Не знаю, милый, — ответила тетя Маша. — Вчера вечером Джура Насырович приходил. На легковушке уехали куда-то. Сказал, дня на два и чтобы не беспокоились.

Иргаш пришел в сад и нехотя принялся за работу. Теперь, когда неожиданно появились какие-то хитрые тайны, как он считал, работа утратила для него радостный смысл. Разве может он не думать о том, что происходит вокруг? Больше того, теперь он будет считать, что их дружба с Федякой Сергачем кончилась. Хитрости не прощают! Нерадостные раздумья Иргаша не укрылись от внимательного взгляда Душанбы, который подошел к нему и спросил:

— Что-нибудь случилось, Иргаш?

— Нет.

— Ты плохо выглядишь. Может, тебе нездоровится?

— Нет, — односложно и настойчиво отвечал Иргаш,

кидая в корзину пригоршни высохшего, но все еще липкого урюка. И потом, будто вспомнив, сказал: — «Волосатого», который с петухом, сейчас видел. С ним еще двое в чалмах. Один безрукий.

— Безрукий?! — это как будто бы удивило Душанбу.— Где они?

— Проехали из Маргилана или из Кувы — не знаю. Туда поехали, — махнул он рукой в сторону тракта.

— Может, к Муслиму-дивоне заехали? — спросил Душанба, встретившись с настороженными глазами Иргаша. — Не заметил?

— Нет. Они прямо поехали, это точно...

Иргаш немного помялся и, поборов свою гордость, как бы между прочим, чтобы отвлечь разговор от противных ему «волосатых», спросил:

— А Джура Насырович не приходил?

— О-о, еще вчера в Фергану уехал. Какой-то смотр облоно там устраивает. А какой — не сказал.

Но Иргашу было достаточно. И как он сразу не догадался! Что сейчас можно смотреть в школах? Опытные хозяйства, живые уголки, сады и все такое прочее. Вот облоно и устроило такой смотр в какой-нибудь большой ферганской школе.

— Сергач тоже с ним укатил. Да? — с ребячьей непосредственностью поинтересовался он.

— Кажется, он намерен был взять кого-то с собой.

— Он взял Сергача, Душанба-ака! — воскликнул Иргаш. — Точно я знаю. Кого он еще мог взять на такой смотр? Конечно, Сергача! Там, наверно, живые уголки будут. Сергач самый подходящий...

ТИМУРЛЕНГ

Высоко в горах, там, где в огромной каменной чаше неспокойно плещутся хрустально чистые воды Синего озера, стоял мазар, увенчанный золотым серпиком полумесяца. Сохранилась молва, что лежит в этом мазаре под тяжелыми камнями святой шейх Абубакир Ибн Муталлеб Хасан. Откуда и когда появился в горах этот шейх, когда и отчего умер и почему он святой — никто не знал. Не знал, наверное, этого и хромой старец Тимур, живший с незапамятных времен на мазаре. А может, и знал, хитрый старик. Знал и помалкивал. А то, что он хитрый, видно по его юрким глазам, которые всегда как бы настороже. Если Тимур с кем-нибудь разговаривает—



глаза его купаются в масленой улыбке и тоже будто тихо беседуют или туда-сюда бегают, точно вперегонки играют. Если же он слушает — и глаза его слушают, затаившись в жестком прищуре. Впрочем, лицо Тимура — обыкновенное лицо старого шейха: слегка скуластое, немного морщинистое, с жиденькой бородой и щетинисто жесткими седыми усами. И чем он совершенно не похож на других шейхов — ногами, вернее одной ногой. Когда он идет, кажется, что правая нога идет отдельно от его хрупкого стана и немного отстает. За это его и прозвали Тимурленгом. Но ходит он довольно скоро, если учесть, что спешить ему вообще некуда.

Мазар возвышается на скалистом обрыве. Со стороны можно подумать, что это не мазар, а дворец или старинный храм: высокий и тесный, как все на Востоке, с двумя узкими, точно щели, окнами. В мазар люди не заходят: Тимур не пускает их туда, — по временам бывает их здесь слишком много. Они глядят в эти щели и в дверь, когда она бывает открыта. Поклонившись могиле Абубакира, паломники идут к озеру, чтобы совершить омовение в беспроглядно синей воде священного озера.

В двадцати шагах от мазара стоит худжра, в которой живет Тимур. В ней ничего нет, кроме истертых циновок,



пыльной кошмы, залатанного во множестве мест чайника и нескольких пиалушек. Чуть подальше от худжры — полуразвалившаяся сараюшка. Тимур в ней когда-то держал козу, пока ее не сожрали волки. Теперь там — дрова и всякий хлам. Тимуру, должно быть, надоело отшельничество, он все чаще спускается с орлиных высот: говорят, что он уходит ночевать к своему старому другу в маленький кишлачок, который скрывается там, внизу, за огромными серыми валунами. Паломники нередко даже разыскивают старика, но не обижаются на него. Паломник пошел сознательный, он понимает, что нет большой радости сидеть одному на жестоком солнцепеке. Вокруг мазара — ни одного деревца: на камнях ничего не растет, кроме колючек да хрупкого, как соль, лишайника. А внизу хотя и валуны, но есть кое-где лоскутки и доброй землицы. Есть яблоневые и урюковые сады, виноградники и две-три лозы. Есть чайхана, а в чайхане — люди, и жирный, остро наперченный плов. Без плова даже у святого мазара тоскливо и неприютно.

А вообще-то Тимур живет на мазаре, как у пророка за пазухой: тихо и мирно. А мир и тишина как нельзя лучше помогают забыть жестокое время басмачества и заживляют старые раны. Собратья по лихой беде —

и те стали забываться: все реже они заходят сюда. Годы берут свое. В дни мусульманских праздников и большого паломничества на мазар приходят дервиши, а иногда — и сам Мадарип-ишан. По такому случаю Тимур распахивает портальные врата мазара и встает как часовой на посту. Здесь Мадарип-ишан как бы преображается: становится царственно важным и рассудительным — никто даже не помыслит перечить его воле. Тимура Мадарип-ишан считает не только своим сподвижником в «священной войне», но и доверенным человеком и верным слугой. Пока только один Тимур знает тайну мазара Абубакира, да и то не всю. И когда Мадарип-ишан приходит сюда, его ничто так не интересует, как эта тайна. Поэтому Тимур, не дожидаясь вопросов, докладывает:

— Да хранит вас аллах! Все хорошо, ишан-ака. Все на своем месте, и все по-старому, даже моя хромая нога — так и остается хромой, накажи ее бес.

— Спасибо, — отвечает ишан и вяло протягивает руку. Тимур подобострастно хватает ее и целует.

Они долго беседуют — целую ночь. Им никто не мешает. Говорят о своей молодости, о джигитской удали и о преданности пророку. Вспоминают минувшее и даже плачут. Почему жизнь пошла не той дорогой, на которую они тащили ее, как строптивого ишака? Неужели кровь, пролитая сынами ислама, никогда не обернется радостью? Мадарип-ишан тяжело вздыхает и говорит:

— Старею, Тимур-ака, горы уже не по моим ногам.

— В старости — мудрость и слава, ишан-ака, — старается ободрить Тимур. Но Мадарип-ишан думает совсем о другом.

— Старею, — повторяет он в хмурой задумчивости. — Все стареем... Ночами одолевают кошмары, а днем — немощь. В голову лезет какая-то греховная гадость. Дурное предзнаменование... Аллах прогневался на меня за ваши грехи. Да-да... Решил я, Тимур-ака, ключ к святой тайне, — он дергает засаленный гайтан кожаной ладанки, что болтается у него на шее, — передать Саидке, сыну Муслима-дивоны. Так будет лучше. Вдруг злой шайтан встанет на моем пути?.. Нельзя допустить, чтобы он своими погаными лапами прикоснулся к тайне. А Саидка — смышленый паренек, послушный... Может, наступит время, и аллах благословит этого юнца быть продолжателем святого дела, которое несем мы. Конечно, с ним придется повозиться, и немало, но без труда ничего ведь не дается...

Об этом своем решении Мадарип-ишан поведал Тимуру в день Курбан-хаита*, когда последний раз приходил на поклонение. Немало прошло времени с той поры, но Тимур не может забыть этого часа. Холодной безнадежностью повеяло в тот раз от речей ишана. Неужели мы прожили все, что положил нам аллах, и не успели ничего сделать? А как же... священная война, и кто покарает вероотступников и кяфиров?.. И впервые тогда Тимуру показалось, что к нему на мазар приплелась сама беззубая старость, горбатая и тяжко усталая, в морщинах и в клочьях седины. Нет, она поторопилась, рано пришла! Надо уйти от нее — старость никому еще не принесла ни радости, ни счастья. Теперь он почему-то не мог спокойно глядеть на таких же, как он, стариков и старух. Они раздражали его. Судьба, однако, была снисходительна к Тимуру: на поклонение святому Абубакиру приходили не только старики — молодые тоже нередко заглядывали на мазар. Одни тайком, чтобы комсомольцы не увидели, другие — целой толпой, всей комсомольской организацией. Эти все хотят знать, везде лезут и слишком много смеются. Но они нравятся Тимуру: с ними не заскучаешь, таких гостей он встречает приветливо, с его благообразного лица не сходит улыбка. Вчера он принимал учителя из Ашлака и его ученика — сероглазого русского парнишку. Они не спрашивали его о святом Абубакире. Их интересовал мазар. А что мог рассказать о мазаре Тимур? В архитектуре он не разбирается. Так и сказал: смотрите сами. Учитель и парнишка долго любовались мазаром, ощупывали камни, разбивали топориками кусочки затвердевшей извести. Тимур отступил от своих строгих правил — позволил учителю и ученику зайти в мазар; там, похоже, их все интересовало: надгробье, сводчатые стены и глубокие ниши в них. Они восхищались и даже записывали что-то в свои тетради. Затем зашли в его худжру, осмотрели кособокий сарайчик. Потом ходили купаться на озеро, а когда вернулись, Тимур сидел у мазара и пил чай.

— Не откажите, уважаемый таксыр, откушать моего бедного угощения: чайку испить. Вода из Синего озера. Знаменитая вода!

Учитель не отказался. Чай действительно был запашист и в меру горек. Поток душевной радости охватил Тимура, когда учитель, прощаясь, дал ему совсем новенькую бумажку, на которую, как смекнул опытный шейх, можно прожить целую неделю и каждый день

варить плов. Добрый человек учитель. Тимуру понравилось и другое: первый раз за многие годы его поблагодарили, и за что?.. За то, что он хорошо ухаживает и держит в чистоте помещение... Ну чего они понимают, молодые, в святых делах? Лучше об этом и не говорить с ними. Одного не понял Тимур: почему-то учитель и мальчишка не пошли по дороге, что ведет вниз, а отправились на гору, по тропинке. Но это в конце концов их дело, может, им захотелось на архаров поглядеть — пусть идут туда, куда им хочется.

Так подумал Тимур, ощупал в тощем бильбоке хрустящую денежку и зашагал, как циркуль по листу бумаги. Праздник кончился, теперь сюда не скоро придут паломники. Самое время посидеть в чайхане, побаловать себя пиалой чая и приятной беседой.

ПАЛОМНИКИ

Продвигались они непрытким ослиным шагом, как и подобает странникам, у которых впереди долгий путь и многие дни страстных молений. В селения не заезжали, пробирались окраинами, тутовыми рощами, полными райского благоухания и птичьей разноголосицы. Хаджиусман не прислушивался к птицам. В тяжелом раздумье он обозревал весь путь и старался получше разглядеть места, которые были знакомы ему с детства. Не сведи его судьба с Курирматом, он, Хаджиусман, сын мутавалли* Бабадуста, и сейчас бы жил, наверно, в кишлаке Азан или в Маргилане, или в самом благословенном Коканде, и если бы не служил в мечети — на худой конец торговал бы в ларьке «Узбекбрляшу»* ханатласом или остроносыми галошами. Но аллаху не угодно было видеть джигита в услужении кяфирам, он дал ему иной путь. Не хотелось сейчас погружаться в туман прошлого и обострять свежими впечатлениями свои воспоминания, но они сами наплывали на Хаджиусмана, как горный ручей наплывает на одинокий, изрядно обкатанный камень. Ехал он молча, и, может, поэтому какая-то бесконечно-тягучая грусть застилала ему глаза.

Перебравшись через железнодорожную насыпь, они спустились в лощину и скоро выехали на тропу, которая повела их между голых курганов. Слева от тропы поднимались кирпичные корпуса стройки, там без умолку гудели самосвалы, вскрикивали паровозы, басовито ворчали тракторы. Дым и пыль заслоняли солнце, и потому



вся стройка утопала в горячей оранжевой мгле. Хаджиусман, молча хмурясь, покачивал головой. На его чалму и белый халат мягко оседала розовая пыль.

— Ох-хо, как люди мучаются. Там и есть ад! — указав камчой* в сторону стройки, сказал он. — Шайтан там верховодит всеми делами, только он — лукавый иблис.

— Нефтеперегонный завод строится, уважаемый Хаджиусман-ака, — сказал Рауф-хальфа. — Люди, говорят, зарабатывают хорошо, живут в светлых домах и в полном достатке.

— Много болтают лишнего, — заметил Мадумар.

— Да, да, вы правы, Мадумар-ака, — отозвался Хаджиусман. — Нельзя верить безбожникам...

И опять воцарилось молчание. Говорить не о чем. Там, среди шума и грохота, идет другая жизнь, непонятная этим странникам и неприемлемая ими. Тихо поскрипывают седла, устало фыркают ишаки, сердито гудит шмель, перелетая тропинку...

— Уважаемые!.. а могила моего родителя Бабадуста — где она?! — чуть не закричал Хаджиусман. — Разве мы проехали те места? Кишлак Азан где-то здесь?.. Может, мы не по той дороге едем? Эй, хальфа-ака!

— Правильно едем, — отозвался Мадумар.

— Мазар вашего родителя был не на общем кладбище, а возле дороги, там и дом ваш стоял, — пояснил Рауф-хальфа.

— Конечно, — согласился Хаджиусман. — Кто же мог не выполнить завещания родителя?

— Об этом и говорю, — продолжал хальфа. — В-о-он то место, — указал он на бурое облако пыли. — Самый большой цех там строится. Кишлака Азан давно нету, на его месте большие дома стоят. Рабочие живут. А рядом — Комсомольское озеро, ребятишки там купаются...

— Порази их гром, нечестивцев!.. — промычал Хаджиусман. Тяжело опустив голову, он перестал интересоваться стройкой. Теперь уж никто бы не сбил его с толку: по ту сторону лощины — Фергана, заводы и фабрики среди садов и виноградников. Но там им, странникам, делать нечего. И поэтому все покойнее становилось на душе Хаджиусмана по мере того, как тропинка отворачивала от города и уводила их в знойную степь. Проезжая мимо развалин покинутого кишлака, он подумал: «Хоть здесь еще стариной пахнет, и за то слава аллаху. Не успели сюда забраться. Вон те камни, кажется, остатки мечети. А это что?.. — он прислушался, поднял руку. — Чу! неужели голос азанчи* звучит над святыми развалинами?..» Нет, то был голос одинокого жаворонка. Кому он пел свои песни? Может, птенцам? Может, этой бедной опаленной земле, на которой ничего не растет, кроме колючек? А может, солнцу?.. «Бездельник! Что тебе не петь — ты вольная птица». Тропинка обошла вокруг глинобитной стены дувала и опять потянулась в степь, туда, к призрачным миражам. Мадумар, ехавший за Хаджиусманом, нетерпеливо проворчал:

— Плохую дорогу выбрал, Рауф-хальфа.

— Хмы... — не сразу отозвался тот. — Это — тропа Мадарип-ишана. Как я могу ехать другой дорогой?.. А почему не нравится вам эта дорога, Мадумар-ака?

Мадумар стегнул ишака, чтобы сравняться с Хаджиусманом.

— Местность эта ничего не напоминает вам? Вон тот заброшенный сад в низине? — взмахнул пустым рукавом Мадумар. — Арык?.. Он давно высох.

— Не могу припомнить, Мадумар-ака, — Хаджиусман привстал на стременах, как вставал в былые времена на стремена горячих скакунов, поглядел из-под ладони вокруг. — Нет, не припоминаю.

Мадумар подобрал здоровой рукой пустой рукав и

так сжал его в не промытом, вечно грязном кулаке, словно хотел ощутить давно забытую боль. Глаза его покраснели. Он сник и замолчал, как бы прислушиваясь к мерной стукотне ослиных копыт.

— Руку потерял здесь, — сказал, точно выдохнул, и выпустил из ладони пустой рукав. — Это был мой последний бой...

— Да, да, я, пожалуй, начинаю вспоминать, — молвил Хаджиусман. — Кишлак тогда был разрушен, так кажется?

— Конечно, — подтвердил Мадумар. — В этом кишлаке жили плохие люди. Негодники. Кяфиры. Курбаши Курирмат приказал выгнать всех из кибиток и забрать с собой. Но куда брать, сами посудите? И если бы не грязные оборванцы из того кишлака — у-у, красные бы порубили всех. Тогда мы прикрыли ими свое отступление. Ну, сами понимаете, чем это кончилось для тех...

— Помню.

— Разве можно забыть такое, — продолжал Мадумар. — Я чуть не каждую ночь вижу того желтоглазого шайтана с красной звездой на лбу. Чертом налетел на меня на своем рыжем коне. А сабля у него — молния. Взмах — и моя рука отлетела в сторону вместе с саблей. После вспышки молнии наступила ночь. Сколько време-



ни продолжалась эта страшная ночь — не знаю, не помню. Свет я увидел только в доме Саттара-ходжи. Вас уже не было. Вы ускакали. Ох-хо, — вздохнул Мадумар. — Все ушли с Куривматом. А меня бросили за дувалом во дворе у Саттара. Бросили, как дохлого пса, а потом...

Хаджиусману казалось, что ему читают давно знакомую книгу. Но нет, это не книга — это его судьба, его жизнь. У кого она завиднее и лучше, у него или у Мадумара? А быть может, у Рауфа-хальфы, но хальфа, кажется, совсем оглох, а может, уснул. Медленно покачивается туда и сюда его порыжевшая на солнце шапка. Изредка подает рассерженный голос петух — ругает хозяина за дорожные неудобства. Однако Рауф-хальфа не спит, он слушает разговор своих спутников и не хочет мешать их горьким воспоминаниям. Порой он, вздохнув, утомленно шепчет: — «Ох-хо, аллах милостивый... Кому польза от такой дикой жизни, неужели мне? Дай бог. Ох-хо...» И опять слышится постукивание ослиных копыт: чак-чак-чак...

В полдень, когда жара стала невыносимой, путники спустились в неглубокий овраг, над которым нависли шелковистые купы деревьев.

— Святой ключ Сят-кяк, — сказал Рауф-хальфа и остановил ишака у небольшого чистого озерка на дне оврага. — Можно отдохнуть. Можно немножко руки и ноги лечить.

На сморщенном загорелом лице Рауфа, как масляная капля, проступила улыбка. Окинув повеселевшим взором овраг, он сел возле воды. Это был маленький оазис, какие встречаются только среди раскаленных холмов и барханов. Здесь уже не было ни миражей, ни пыли, ни сухого треска под ногами. Земля казалась теплой, дышащей, напитанной жизнью. По оврагу росли тополя, карагачи, дикие яблони и алыча. Но не это было примечательным для тихого уголка — до десятка небольших озерков, точно не зажившие оспины, испятнали зеленое дно оврага. И в каждом озерке множество рыбы. Должно быть, кто-то напустил сюда мальков маринки. А может, дикие утки натаскали икры на своих перьях. И теперь стоило только подойти к озерку, как тотчас же откуда-то из-под берега, из-под коряг и глубоких нор выплывали сперва маленькие и юркие маринки, а за ними, чуть не метровой длины рыбины. Они медленно шевелили прозрачными зеленоватыми плавниками и как бы при-

ветствовали пришельца. И хотя прибрежное дно озерков вдоволь было усыпано зернами риса, джугарой, машем, разбухшими кусками лепешек и даже кусочками вареной баранины из плова, рыбы привычно ждали новой подачки, к чему их приучили паломники, толпами собиравшиеся здесь в дни мусульманских праздников. Стоит бросить горсть крошек, и сейчас же озерко превращается в бурлящий казан. Однако правоверный может только любоваться этим зрелищем с берега: трогать рыбу нельзя — она здесь святая!

Хаджиусман присел к берегу и наклонился, чтобы зачерпнуть кружку воды, но не успел. Большая рыбина шлепнула по воде хвостом, окатила его брызгами, а кружка, булькнув, мягко осела на дно.

— Их!.. Кидаются, как собаки! — проворчал Хаджиусман. — Голодные?

— Нет, они сыты, — ответил Рауф-хальфа. — Играют...

Мадумар нахмурился и отвернулся. Хаджиусман неторопливо жевал лепешку и припивал из кружки студеную, пахнувшую маринками воду. Ему было о чем подумать. Рауф-хальфа, подсунув под голову шапку, лежал под кустом и тяжело дремал, то и дело сгоняя с себя назойливых мух. Потеряв всякую надежду заснуть, он поднялся и сказал:

— Кусают, проклятые! Ох-хо... На Шахимардан дорога пойдет в эту сторону, — глядя на Хаджиусмана, показал он рукой. — Через Каптархану, через Вуадыль, и — дальше. Мадумар-ака хорошо знает туда дорогу.

— А вы?! — насторожился Хаджиусман.

— Тоже знаю. Я все дороги знаю... Мне придется идти искать Мадарип-ишана, уважаемый. Боюсь, что ишан-ака будет огорчен, если вас не увидит, и на меня осердится. Поезжайте одни, а я позже приеду.

— Как, Мадумар-ака?

Мадумар молча пожал плечами.

— Вы, пожалуй, правы, Рауф-ака, — согласился Хаджиусман. — Скажите ему, что он нужен мне для важного разговора. Уговорите, пожалуйста. Без него нельзя ничего решить.

Теперь они беседовали о дорогах, о кишлаках, мимо которых придется им ехать, о шейхе Тимуре — обо всем понемногу. И когда все важное было оговорено и предусмотрено, Рауф-хальфа умылся, сотворил молитву и отправился дальше, оставив своих спутников у «святых» ключей.

ПОГОНЯ

Иргаш вышел на улицу, поглядел в один конец — в другой, и, опустив голову, побрел к саду. На улице не только ребят — взрослых еще не было. А Иргашу не спалось. Не спалось оттого, что не нравились ему такие дела. Учитель все еще не вернулся. И Сергач околачивается где-то там, возле него — какой советник! Эх, Сергач, Сергач, открытку и ту написать не может, как неграмотный! Вот Ромка бы сообщил... Но он, кажется, совсем расхворался, доктор обмазал его ногу гипсом и строго-настрого приказал: не прыгать! Не послушаешься — на всю жизнь с одной можешь остаться. Теперь Ромка лежит в постели, разглядывает потолок и придумывает новый план освобождения Южной Кореи от всяких предателей и много еще кое-чего другого. Без таких мечтаний и дня не прожить Ромке. А Иргаш вкалывает за всех. Но ничего, придет же такое время, соберутся все, и тогда Иргаш скажет свое слово. Он уже подходил к саду, как вдруг услыхал крик. За ним бежала сестренка Саидки Рано.

— Вот еще, тебя не хватало, — проворчал Иргаш.

Завернувшись в старую, с длинными кистями, шаль, Рано казалось тоненькой и черной, как обгорелая камышинка. Снизу, из-под кистей шали, видны были босые ноги, а сверху — нос да испуганные глаза.

— Чего кричишь на весь кишлак?

— Дома у нас плохо. Беда пришла к нам, — она сперва надрывно всхлипнула, а потом опустилась на землю и зарыдала.

— Говори толком, плакса! — крикнул Иргаш и схватил девчонку за тощие плечи.

— Отец... убежал ночью и Саидку утащил...

Иргаш дернул девчонку за руку.

— Перестань реветь! Куда убежал? Как утащил?! Говори все и не реви!

— Не знаю. Мама тоже не знает.

— Эх вы!.. Беги в сад, там есть дядя — Душанба его зовут, — приказывал Иргаш, тормоша за руку растерявшуюся девочку. — Все расскажешь ему. Понятно?

— А ты сам? — пропищала Рано, не переставая плакать.

— Выполняй, что тебе приказывают. У меня другие дела есть. Быстро!..

Иргаш метался по улице, пока и сам не зная, что

делать. На площади, возле хозяйственной лавки, он увидел коня, привязанного к дереву. И тотчас словно кто-то зашептал ему в ухо: торопись, Иргаш, догоняй дивону. Догоняй!..

Отвязав коня, Иргаш, как настоящий джигит, прыгнул в седло. Никто не видел, когда он на полном карьере вымахнул из кишлака. Скорей! Скорей! Скорей... Конь, почуяв волю, отдавал все силы, ветер косматил и рвал его гриву, из-под копыт выплескивалась пыль и желтым облаком нависала над дорогой, укрывая от случайных взглядов лихого всадника. Скорей! Скорей!..

— Куда?! — вдруг крикнул Иргаш, когда конь вздыбился на перекрестке. Заметив впереди чабанов, он быстро догнал их. Возле тропы с огромной злющего вида собачиной стоял молодой чабан и глядел насмешливыми глазами на всадника.

— Эй, джура, подойди поближе, я кое-что скажу тебе, — позвал Иргаш.

— Ты конный, а я пеший — еще что придумаешь. Если тебе нужно сказать — подъедешь, — нелюбезно ответил чабан, прижимая к ноге зарычавшего пса.

Смутившийся Иргаш, помешкав, подъехал.

— Тут... бродягу одного не видал случайно? — спросил он.

— А зачем тебе нужен бродяга?

— Это... Это дядя мой. Больной человек. Понимаешь?

— Ну и родственнички у тебя, — засмеялся парень. — По твоей красивой фуражке тебе, джура, родню надо поважнее иметь.

— А ты не тяни! — вспылил Иргаш, поняв с опозданием свою оплошность. — Родня тут ни при чем и фуражка моя тоже. Больные в каждом доме бывают.

— Ну, видал какого-то полудурка в большой шапке, а может, дивону — не знаю, — сказал парень. — На ишаке проехали недавно. Мальчишка с ним.

— Мальчишка?!

— Да. Сзади сидел. Похоже, тоже чокнутый. Туда поехали, — палкой показал пастух.

Иргаш дернул поводья. А парень, смеясь, крикнул ему вдогонку:

— Пламенный привет твоему родственнику!

Иргаш показал чабану кулак и поскакал. За косогором лежало селеньице в серебряной подкове оросительного арыка. Непрытким галопом Иргаш въехал в разгороженный со всех сторон и, по-видимому, заброшенный

сад. Навстречу ему шел старик с вязанкой хвороста на загорбке.

— Дедушка! — крикнул Иргаш и спрыгнул с седла, помня усвоенный от своего деда обычай — нельзя разговаривать с почтенным старцем, когда ты стоишь выше его. Поприветствовал учтиво. — Дедушка, вы не видели человека... Ну, он такой... — замялся Иргаш. Старик опустил на землю вязанку, отер с лица пот рукавом халата.

— Видал, сынок, — вздохнул он, довольный обходительностью мальчика.

— Он не один этот человек, с ним мальчишка должен быть. Они на ишаке...

— И про мальчишку могу сказать, — продолжал старик. — Ишак возле арыка траву щиплет, и мальчишка там, а дивона — будь он неладный — наглотался, кажется, кукнара, вон под той грушей храпит.

— Вы знаете дивону?! — удивился Иргаш.

— Кто же не знает, сынок, этого бездельника. Давно всем глаза намозолили — братцы дьявола. А что ты собираешься делать, если тебя так интересует дивона?

— Дивона совсем не нужен мне. Саидку ищу.

— Тогда ступай к арыку и торопись, покуда спит этот сумасшедший.

Но Иргашу вначале захотелось поглядеть на Муслима-дивону, словно это нужно было для того, чтобы еще раз убедить себя в том, что он имеет дело не с жалким бродягой-побирушкой, а с преступником. Привязав к дереву лошадь, он подошел к той груше, под которой расположился Муслим. Поднялся и дивона, подпрыгнул, как на пружинах, и дико захохотал — так он делал всегда при встречах с людьми.

— А-а, за мной прискакал? Хочешь поймать меня? На-а! — показал он дулю и бросился прочь. Но тут же остановился. — Что тебе надо?!

— Где Саидка?

— А еще ничего не хочешь?

Взъерошенный и кривоногий, как обезъяна, Муслим-дивона снова принялся прыгать и метаться между деревьями. Иргаш и в уме не держал, что дивона ищет удобную позицию для нападения. Он продолжал свои «мирные переговоры»:

— Ничего мне больше не надо. Возьмем Саидку и поедем в кишлак. Потихонечку. Где он, Саидка?

В руке у дивоны блеснул нож.

— Берегись, негодник!.. — с этими словами дивона кинулся на Иргаша. Иргаш увернулся от удара, но Муслим все же успел схватить его за рубашку и разорвал ее до самого подола. — Щенок! Ничего, теперь ты в моих руках! — гнусаво хрипел дивона, гоняясь за мальчиком. Иргаш мог еще вскочить на коня и умчаться, но не за тем он торопился сюда, чтобы выказать свою слабость перед этим бродягой. На что же надеялся Иргаш, если при нем не оказалось даже того складного ножика, с которым он обычно не расставался? Скорее всего он не думал об этом. А дивона, кажется, совсем озверел, он гонялся за Иргашем, нырявшим между деревьями, падал и страшно ругался. Улучив минуту короткого замешательства дивоны, Иргаш, по-обезьяньи работая ногами и руками, быстро взобрался на урючину. Муслим не успел сдернуть мальчишку с дерева, но сумел другое — распорол ножом узкую штанину и зацепил ногу Иргаша.

Вгорячах, еще не чувствуя боли, Иргаш старался забраться как можно выше, чтобы взглянуть на местность: нет ли поблизости людей. Он увидел опять того старика с вязанкой хвороста и обрадовался.

— Дедушка-а! — закричал Иргаш что было силы.

— Зачем орешь, как ишак? — подняв голову, заругался Муслим.

— Де-ду-шка-а!..

Старик оглянулся, одну минуту он стоял в тревожной нерешительности, но, кажется, догадался в чем дело — бросил свою вязанку и суетливо засеменил в кишлак. С высоты старой урючины Иргаш продолжал искать Саидку, но ему мешали кроны других деревьев, выше которых он уже не мог забраться. Кровяные капли все гуще пятнали сучья дерева: кап-кап-кап...

И вот наконец он увидел сперва ишака, пасущегося под горой возле арыка, а потом — Саидку. Ему показалось, что Саидка завернулся или в одеяло, или в большой не по росту халат и сидит под деревом так, точно привязан к нему.

— Саидка, я здесь... Саиджа-ан!.. — закричал он, готовый, кажется, спрыгнуть с урючины.

Дивону охватил новый приступ ярости, подобрав палку, он стал забираться на дерево, чтобы стащить оттуда Иргаша. Но сук, за который он ухватился, затрещал и вдруг обломился, обрушив на дивону весь свой урожай еще не зрелых плодов. Иргаш с нервозной торопливостью

сорвал несколько жестких плодов и принялся кидать их в копошащегося среди цепких ветвей Муслима. Выбравшись из-под тяжелого урюкового сука, дивона сбросил с себя лохмотья халата и уселся под деревом.

— Сам слезешь. Мне торопиться некуда, подожду... Эх-хе, аллах наказал тебя. Наказал! — увидев на сучьях кровь и потрогав ее пальцами, он возрадовался. — Вся поганая кровь твоя уйдет в землю. Скоро издохнешь! Спаситель... Саидку ему подавай... Всех, кто идет против всевышнего, он наказывает мучительной смертью. Да, да, смертью и мученичеством!.. — Муслим сперва кричал, а потом принялся прыгать и бесноваться. Иргаш, глядя на него, вроде ненадолго забывался, боль куда-то отступала, и только кровь живой горячей струйкой ползла по ноге и каплями падала на землю. В иные минуты ему казалось, что и урючина, на которой сидел он, тоже начинает куда-то двигаться, а вместе с нею двигается и Муслим-дивона, но потом опять все встает на свое место.

— Погибнете все! — злорадно продолжал Муслим-дивона. — Погибнете, нечестивцы! Сперва ты издохнешь. Саидка околеет, как паршивый пес. Потом — предатель. Алихан.

Но не успел он обрушить на бедные головы своих противников всех проклятий, срывавшихся с его языка, как в саду сперва послышался шум, а затем появились люди. Впереди шел старик, сборщик хвороста. Муслим что-то кричал, размахивая ножом, но дюжие здоровые люди тут же обезоружили его и связали руки. Но Муслим видел только старика.

— Старый ишак! Шайтан! — кричал дивона и плевался. — Предатель, ты привел весь кишлак, ты!.. Пусть будет проклята мать, которая дала жизнь такому негодяю.

— Заткнись, несчастный! — сердито сказал старик и отвернулся.

Но не он заставил замолчать разбушевавшегося дивону — среди людей, которых привел старик, дивона увидел Алихана. Он стоял чуть в стороне и, кажется, только наблюдал за происходящим.

А Иргаш уже неловко, но торопливо спускался с дерева.

— Держите его, он убежит! Держите, я скоро... — Он слез с дерева и, припадая на пораненную ногу, побежал.

...Руки и ноги у Саидки были связаны веревкой из

колючей овечьей шерсти, лицо туго замотано грязной чалмой. Поэтому он так безмолвно и неподвижно сидел, словно прикованный к дереву. Иргаш кинулся к нему и зубами стал развязывать узлы.

— Жив?!. Ну скажи — жив? — пошлепав ладонями по Саидкиным щекам, он схватил его за плечи и посадил перед собой. — Жив! Ну скажи?.. Пошли скорее, пока люди держат того шакала!..

А Саидка молчал, на бледном лице его появилась смятая, неуверенная улыбка. Она была сейчас совсем ни к чему — надо говорить, а не улыбаться. Но кроме этой смятой улыбки у него ничего не получалось. Говорил один Иргаш. Говорил, захлебываясь от радости, от счастья, что на помощь к ним пришли люди — чуть не целый кишлак! Иргаш вдруг покачнулся, точно наступил на что-то скользкое, и упал.

— Что ты?! — первые слова произнес Саидка, вложив в них, кажется, весь остаток своих сил. — Он так тебя? Да?!.

— Молчи, Саидка, — прерывисто и напряженно зашептал Иргаш. — Не надо. Пусть никто не знает. И Душанба — пусть тоже не знает. Ты не скажешь ему, Саиджан?.. Мне не больно. Не думай...

Опираясь на руки, Иргаш поднялся и снова упал. Саидка зарыдал, громко, на весь сад...

О, ВЕЛИКИЙ АЛЛАХ!

С утра странники поднимаются на крутую гору. Солнце в зените, все живое, кажется, млеет в мельтешащем зное, а конца пути не видать. Петляет узкая турья тропа, шириною в куриный шаг, между горячих камней и редких кустов почти черной арчи, а куда ведет тропа — то ли вверх, то ли вниз, — сразу не разгадаешь. Трудная эта тропа, даже ишаки задыхаются, надсадно фыркают и встают на колени, точно просят у неба милости. И хотя Хаджиусман почти не слезает с ишака, халат его взмок от пота, а ичиги стали тесны — ноги отекают. Давно хочется пить. И о хорошем не думается — поминутно из-под ног ишаков срываются, как осатанелые, кеклики. Хаджиусман каждый раз вздрагивает и раздраженно ворчит: «Нечистая сила! Тьфу!..» А еще пугают его змеи — их здесь тоже хватает. Зачует ишак гюрзу или кобру, и начинает коники выкидывать: то в сторону шарахнется, то задком накинет, то заорет, вздер-

нув оскаленную морду. Поневоле приходится слезать с него и камнями или палками очищать от гадов дорогу. «И чего мы поехали не по той дороге, которая идет вдоль Шахимардан-сая? — недоумевает Хаджиусман. — Надо же карабкаться по таким козьим кручам!»

— Эй, Мадумар-ака, может быть, эта гора в конце концов приведет нас на седьмое небо? — с откровенной издевкой спрашивает Хаджиусман. — Вы скажите. С грехами туда не пускают, помолиться надо.

Мадумар поворачивает голову и, морщась от несладкой шутки, отвечает:

— Не гневите аллаха, Хаджиусман-ака, здесь труднее — это да, но зато безопасней. А гора скоро кончится. Разве вы никогда здесь не были?

— Все горы, на которых довелось мне побывать, невозможно запомнить, уважаемый. Да и ни к чему...

И опять едут они друг за другом и молчат. Опять вздрагивают при каждом взлете кеклика. Вскрикивают при появлении на тропе змеи и бормочут заклинания.

Вдруг в глаза Хаджиусману ударил откуда-то яркий свет. Он поднял голову. Ишак, дрожа и вытягивая все свои жилы, взбирался на последнюю пядь горы. Голубой необъятный простор, сверкающий, как море под легким полуденным ветерком, открывался усталым странникам.

Молча, с душевной робостью они поспешили расстелить тут же на тропе лоскутья кошмы и стали молиться. Солнце теперь светило им в спины, а перед лицом, перед мысленным взором вставала недоступно далекая Мекка. Она жила в каждом из них, как рана, которая никогда не заживает. Уже много лет Мадумар в мыслях стоит у черного камня Каабы и кается во множестве грехов своих. Он даже плачет порой. А Хаджиусман дал слово: вернется из опасного путешествия и сразу уйдет на поклонение. Аллах любит, когда ему поклоняются, плачут и благодарят, за это он прощает все грехи.

Помолившись, путники сели отдохнуть. Отсюда, с орлиной высоты, земная жизнь на дне каньона казалась до удивления мелкой, как бисерная вышивка на полотнище бекасама*. Свежими зелеными брызгами липли к диким камням безвестные кишлаки, урюковые рощи, виноградники. А между камней и зелени бежала и прыгала на порогах, точно ящерица, светлая веселая речка. Впрочем, не только маленькие кишлаки и речка видны отсюда — в том дальнем отроге, откуда начинается каньон, виднелось озеро. Хаджиусман с непонятным

удивлением глядел на высокое куполообразное здание, стоявшее в середине кишлака. Лицо его становилось суровым, взгляд — беспокойным. Мадумар, свертывая кошму, вполглаза поглядел на него и вздохнул.

— Там его и забросали камнями, — сказал Мадумар, поправляя сбившуюся набок чалму. — Памятник поставили... Кто знал, что он будет такой... Хамза, Хамза — в каждом городе, и в каждом кишлаке сейчас есть великий Хамза. А тогда один был Хамза — безбожник! Вероотступник. Поганый кяфир!

— Не надо, уважаемый, — молвил Хаджиусман с глухим раздражением в голосе. — Зачем?.. Вы лучше скажите, где мы будем искать Тимура? Или, может, пойдем прямо к нему, на мазар?

— О, сейчас он сидит там, — указал Мадумар вниз. — Чай пьет, плов кушает, сказки рассказывает. Этот старик, скажу я вам, умеет жить. А на мазаре чего высидишь? — он как-то странно умолк и, подумав, спросил: — А Мадарип-ишана ждать разве не хотите?

— А вы уверены, что бродяжка приведет его?

Мадумар, вздернув безрукое плечо, поднялся и, порывшись в хурджуме, вернулся на свое место.

— Черствая, но все-таки лепешка. Покушайте, — сказал он и положил перед Хаджиусманом узелок с едой. — Э, Рауф-хальфа, конечно, немножко того... Мадарип-ишан может побояться идти в такое время, — неуверенно начал Мадумар. — А бродяга он есть бродяга: попадется на дороге добрый человек, угостит пловом и барибир...

— Хорошо, если добрый.

— Ну, чего нельзя болтать, он не будет. Дурью отделается. Мадарип, слава богу, хорошо воспитал их.

...Вечером хромого шейха разыскали в чайхане. Мадумар, улучив подходящий момент, объяснил ему цель своего появления. Тимур сперва что-то болтал, недовольно хмурясь, будто собирался сказать: вот еще принесла вас нелегкая. Но потом повеселел, и белая борода его заструилась от беззубой улыбки. Мадумару не понравилась такая развязность старика. Он незаметно прикоснулся к Хаджиусману и шепнул ему на ухо:

— Он, кажется, хлебнул кукнара. Будьте осторожны, ака.

Но все шло хорошо. Тимур, хотя и болтал без умолку, но внимательно приглядывался к гостю, точно хотел увидеть в нем другого человека. А между тем Тимур

был недалек от истины: гость и есть тот самый человек, с которым Тимур встречался когда-то и в Чимионе, и в Вуадыле у Куримата, и в потайном стане дервишей и духовников, замысливших расправу над Хамзой. Он не помнит, как тогда его называли, Хаджиусманом или как-нибудь иначе, но это, конечно, он...

Странники опять тронулись в путь и опять пробирались по запутанной козьей тропе, поднимавшейся в гору. В густых сумерках Тимур казался меньше, чем он был, — чалма, косо торчавшая из-за сутулой спины, будто прижимала его к земле. Он молчал, потому что Хаджиусман ничем не обрадовал его. Этот пришелец из Пешевара принес ему такую весть, что собственная жизнь как-то сразу потускнела и потеряла для него смысл. Почему-то страшно жаль было себя. Чего ради он до сих пор сидел на мазаре святого Абубакира? Неужели он ждал его, этого тайного гостя? Никогда он еще не подымался к мазару с чувством такой тяжелой тоски и горечи. Казалось, что идет он туда последний раз, для того чтобы никогда больше не возвращаться к простой человеческой жизни, что осталась там, внизу. Когда ишак его остановился, он неуклюже сполз с него и сказал:

— Слава аллаху, приехали...

Хаджиусман поглядел строго вокруг.

— С вами никто не живет?

— Нет, уважаемый. Никого сюда по доброй воле не затащишь.

Тимур долго возился с замком и тихо ворчал:

— Поломался, что ли...

— Нечасто бываете. Ржавеет.

— Все ржавеет, и все старится. Замку столько же лет, сколько и мне, а может, и больше...

Наконец дверь, заскрежетав на ржавых навесах, отворилась. Из черной утробы мазара подуло затхлым ветром, запахло прелым тряпьем и гарью. Хаджиусман почувствовал, как учащенно забилось сердце, подпирая дыхание. Дрожащими руками он вцепился в Тимура и, робея, прислушался, как трубно гудит что-то под куполом мазара.

— Что такое?!

— Э-э, здесь всегда гудит.

Над их головами проносились летучие мыши. Где-то вверху, под каменным сводом, крикнула сова. Кто-то жалобно запищал, и в темноте засветились два зеленых огня. Хаджиусман еще крепче вцепился в Тимура.

— Не бойтесь, это — кот... Ух ты, тварь несчастная! Пакостник, — заругался Тимур. — Сейчас я зажгу светильник. Сейчас...

Оранжево-маслянистый свет керосиновой лампы медленно растворял темноту мазара. В пустотелых глиняных сосудах, что были вмазаны в каменный свод купола, попрежнему лихо гудел ветер: он то свистел, то жалобно подпевал, то смеялся как леший: Хаджиусман недоверчиво огляделся и встал на молитву. За ним последовал Мадумар. Тимур расположился в сторонке, чтобы не мешать гостям. Но даже в молитве не замечалось былой торжественности — Хаджиусмана почему-то все сильнее знобило.

— Закрыли ли вы за собой дверь мазара, Тимур-ака? — недовольно спросил он.

— Нет, уважаемый, я не имею такой привычки.

— Напрасно. Закройте, пожалуйста.

Хаджиусман подошел к стене, ощупал ее. Ему казалось, что он теряет самообладание и вот-вот, не выдержав напряжения, упадет. Попытался о чем-то спросить Тимура, но поперхнулся и хрипло закашлялся.

Хаджиусману не случалось бывать на этом мазаре раньше, но он хорошо знал, что под плитой надгробья лежат не кости святого мертвеца — здесь похоронена тайна одного из самых жестоких басмачей Средней Азии. Он пришел за ней, за этой тайной.

— Тимур-ака, помогите мне чуть-чуть, — попросил Хаджиусман, пробуя сдвинуть надгробье. Тимур уперся в камень руками. И Мадумар положил на плиту свою единственную руку.

— Взяли!..

Плита, сухо поскрипывая, отодвинулась.

— Еще разок! Еще, — командовал Хаджиусман, как артельный грузчик. — Еще раз! Еще!..

Плита медленно сдвигалась в сторону, открывая черный провал могилы. В мазаре еще сильнее ощутился промозглый холод и запах ржавого железа. Все летучие мыши, какие водились под куполом, вылетели в открытую дверь, и только мягкий шелест их крыльев все еще слышался в темноте.

— Посветите сюда, Тимур-ака. Ближе. Еще ближе!..

Тимур и Мадумар, кажется, оцепенели. Они стояли на краю каменной ямы, утратив способность двигаться и разговаривать. В руках Тимура ходуном ходила керосиновая лампа, готовая грохнуться на каменный пол.

А Хаджиусман, теперь уже осмелевший и решительный, повелевал то одному, то другому:

— Поставьте лампу, а то уроните!.. Мадумар-ака, отойдите в сторону, вы совсем закрыли свет. Ничего не вижу!..

Склонившись над ямой, он что-то нащупал там, а затем вытянул на поверхность концы волосяных веревок. Подергал, попробовал на прочность, потянул — где-то в глубине заскрипели деревянные блоки.

— Понятно... — сказал Хаджиусман и подал один конец веревки Тимуру. — Сейчас, сейчас... Вы, Мадумар-ака, можете немножко помочь нам, вот здесь берите...

Страшно браться за колючие волосяные веревки. Страшно оттого, что ни Тимур, ни Мадумар в точности не знали, что там. Вернее, полагали и даже были уверены, что это могила, а в ней — останки святого старца Абубакира, так по крайней мере думал, был уверен в этом Мадумар. Зато Хаджиусман уже не выказывал больше ни страха, ни тревоги. Внизу, откуда тянулись веревки, ощущалось что-то тяжелое, но подавалось наверх ровно, без рывков и задержек, только блоки чуть-чуть поскрипывали. Наконец, царапая стенки ямы и стукаясь об них углами, на поверхности показался довольно большой сундук, обитый позеленевшей медью.

Тимур и Мадумар богобоязненно сотворили молитву и отступили от ямы. Хаджиусман смело поднял крышку и принялся деловито разбирать содержимое сундука. Первое, что он извлек из него, был халат. Хаджиусман помял его в руках, по-хозяйски ощупал складки богатой парчовой ткани и отбросил.

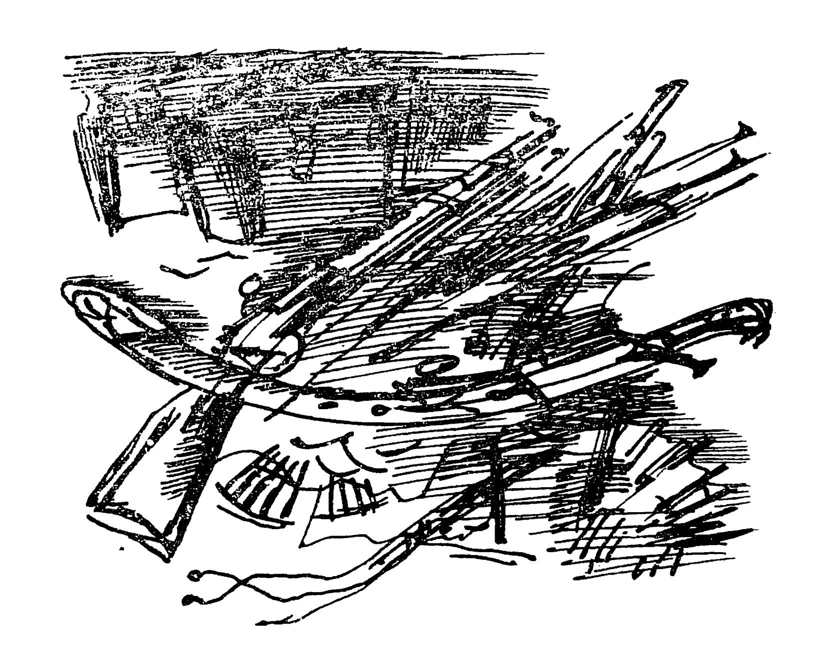
— Мадумар-ака, возьмите! Вам пригодится.

Потом он извлек и развернул темное полотнище. Это было знамя, зеленый басмачий штандарт с золотым полумесяцем. Края его были истерзаны лихими ветрами, местами порваны, с пулевыми просечинами, в пятнах засохшей крови. В молитвенном молчании Хаджиусман прижал знамя к груди.

— Что такое?

— Разве вы не видите, Мадумар-ака?!

Он еще раз тряхнул зеленым полотнищем и запихал его за пазуху. Снова полез в сундук и принялся выкидывать из него какие-то тряпки. За промасленными тряпками появилось оружие: густо смазанный английский карабин. Один, другой, третий. Хаджиусман, уткнувшись чалмой в сундук, вытаскивал все новые и, видимо, еще



не бывшие в бою карабины, завернутые в промасленную бумагу. По его лицу, по бороде струился пот. Он выхватил из сундука саблю. Ножны ее и тонкий, в змеином извиве эфес, были осыпаны дорогими камнями. Даже неживой свет керосинки вспыхивал на ней и дробился, как искры в струе газовой сварки. Крупные жемчужины вспыхивали притушенными огоньками и на тонком ремешке портупеи, и на сафьяновом темляке. Тимур и Мадумар, все время молчавшие и даже не на шутку напуганные всем, что происходило у них на глазах, приблизились к сундуку. Хаджиусман выдернул из ножен кривой исфаганский клинок и порывисто поцеловал его.

— Вот оно, завещание пророка, с которым ходил в бой Курирмат! — воскликнул Хаджиусман.— Вслушайтесь, что здесь написано! «Хвала аллаху, вездесущему, всевидящему! Меч — надежный ключ к небу и аду»! Понимаете? — спросил он, гордо подняв голову.

— Конечно, — чуть слышно пролепетал Мадумар. Но почему к аду?

Хаджиусман посмотрел на другую плоскость клинка.

— Здесь вы найдете ответ, Мадумар-ака, слушайте: «Сражайтесь, не робейте: врата рая — под сенью мечей. Тот получит доступ в него, кто пал, сражаясь за веру!»

— Теперь ясно, — также тихо сказал Мадумар.

Хаджиусман опять уткнулся чалмой в сундук, теперь он извлекал оттуда цинки с патронами. В руки ему попала двухвостка-камча. Еще какая-то мелочь, пропахшая могильной плесенью, и снова — истлевшие тряпки.

— Это и все?! А где о-остально-ое? — не спросил, а зарычал Хаджиусман, упершись бешеным взглядом в Тимура. — Где-е?!

— Не знаю, уважаемый таксыр, что вы ищете, — растерялся Тимур.

— Не знаете?.. А где золото Куримата?!

Тимур в изумлении попятился назад. Но Хаджиусман кинулся на обомлевшего хромца и ухватил его за жидкую бороду.

— Где з-з-золото?!

Тимур упал на колени и взмолился:

— Видит аллах, я ничего не знаю. Спрашивайте у Мадарип-ишана. Он хозяин всему, что есть на мазаре.

— У Мадарип-ишана? Украли, ограбили!.. — Хаджиусман размахнулся и ударил старика в лицо кулаком. Мадумар одноруко схватил Тимура за шиворот и немного приподнял, словно для того, чтобы Хаджиусману удобнее было бить его по лицу. Тимур вырывался, как мог, и кричал скрипучим стариковским голосом.

В разгар свалки упала лампа, все поглотила мгла. И вдруг в этой тяжелой, как смола, темноте, наполненной шумом возни и керосиновым чадом, загремел гром. Настоящий гром, глухой и раскатистый, какой предвещает ливень. Под куполом ослепительно засверкали молнии. Заклубились сперва синие, потом алые, будто предзакатные, облака, и снова удар грома. Взрыв — и тысячи разноцветных звезд посыпались на пол. Затем чей-то сильный голос воззвал:

— Оста-но-ви-тесь!..

Мазар затопило ослепительным светом. Казалось, что каменные стены его расплавились и потекли сверкающими потоками. Раскрылась ниша в стене, и из нее вышел... человек.

— Встаньте, жалкие грешники! — повелел человек.

Хаджиусман еле живой стоял на коленях и бессмысленно шептал молитвы. Когда он увидел грозного повелителя, он задрожал и подумал: «Вот и аллах!.. Нет, аллах не может быть так молод. Это — ангел его, Джебраил. Конечно же, — ангел, его голову... что такое? Ее, кажется, венчает алая чалма воина... А может, это только



так, как бывает во сне?.. Нет, он простит меня, не может он не простить...»

Мадумар ничего не видел и не слышал, он лежал ничком, как мертвый.

Растрепанный и избитый, валялся на полу Тимур и, не переставая, бормотал:

— Мадарипа ищите, с него спрашивайте. Пусть накажет его аллах!..

Когда в мазар хлынула толпа людей, привлеченных громом и молниями, Тимур умолк и поднял голову, он заметил в толпе светловолосого подростка. Ему показалось, что он уже видел однажды этого мальчишку. Показалось, что и повелителя, вышедшего прямо из стены мазара, ему приходилось где-то встречать. Но где? Разве мало за долгую жизнь встречалось людей? Всех не запомнишь. А этот — обыкновенный и никакой он не аллах и не ангел, и на голове у него, оказывается, не алая чалма воина — ферганская тюбетейка! Но как все-таки он похож на того ашлакского учителя, которого совсем недавно Тимур угощал чаем. Возможно ли такое чудо, когда сам аллах разгневался и решил наказать... В голове все перепуталось и шло кругом. Тимур так и не мог вспомнить...

ОЖИДАНИЕ

Под вечер на бахчу прикатил Алимджан Саитбаев. Приткнув насквозь пропыленный мотоцикл к копне клевера, он направился к Тургунбаю, который копошился возле своих ловушек.

— А-а, железный ишак прибежал... Салам алейкум, сынок! — радостно приветствовал старик, подняв на Алимджана смеющиеся глаза. — Гостям всегда рады. А про железного ишака — в шутку, не сердись. Ты меня знаешь...

— Спасибо, отец. Очень рад видеть вас в добром здоровье и в радости. Что новенького?

— Э, какие могут быть новости у стариков, — хитрил Тургунбай. — Ловлю перепелок, караулю арбузы и дыни, чтобы шайтан их не скушал. Вот и все мои новости.

Саитбаев выглядел усталым. Густой чуб, спадавший на лоб, казался седым от пыли, в пыли была и легкая спортивная куртка, и сапоги. Похоже, прежде чем завернуть к Тургунбаю, он одолел утомительную дорогу. Ста-

рик догадывался: Алимджана занесло к нему не желание отдохнуть и насладиться охлажденной в арыке дыней. Все с той же снисходительно-доброй усмешкой он поглядел на парня и спросил:

— Чайку согреть, сынок, дыню принести или домой торопишься?

— Хочу задержаться немного, если вы, конечно, позволите.

— Как не позволить! Что ты говоришь? — удивился старик. — Если у человека есть важное дело, ему даже аллах помешать не имеет права. Хорошо, что задерживаешься у меня, а... — и прищурив глаза, спросил уже тихо и вкрадчиво: — А может, задерживаешься ты для того, чтобы охранять меня от «волосатых», которые, как мне сказали добрые люди, собираются укокошить меня?

— Что такое?

— Сегодня выпроводил одного телохранителя, — смеясь, продолжал Тургунбай. — Приковылял кое-как и заявил: не уйду от тебя, дедушка, пока всех злодеев не переловим. А у самого кухонный нож за поясом и палка в руках. Чего меня охранять? Вон мой охранник, — показал он на дремавшего под навесом пса. — Всю жизнь только и дрожит, чтобы кто не обидел меня. Да и винтовка моя пока еще стреляет.

— О ком вы говорите?

— А ты должен понимать. Говорю об этих озорниках, — повысил голос Тургунбай и принялся заваривать чай. — Вчера Ромаджан приходил. Прыгает, как воробей: нога-то все еще болит у него. А дома усидеть не может. Отправился искать моего внучонка Иргаша. А тот, негодник, оказывается, за Муслимом-дивоной погнался да еще в драку ввязался с ним. Тот ему ногу распорол ножом. Глубоко задел, проклятый. Хорошо, что добрые люди подоспели и выручили внучонка. Да и Алихан в самое время угадал. Дивону, конечно, задержали. Саидку отобрали у него. Чего он собирался делать с несчастным мальчишкой? Поглядел я на дивону: до чего же может дойти человек...

— Алихан с ними уехал?

— Не уехал, — вздохнул старик. Упоминание об Алихане почему-то причинило Тургунбаю непонятное беспокойство. — Не успел уехать. Несчастный человек. Сказал, что ему в какой-то кишлак надо сходить. В Павульган вроде. Зачем? Чего он там оставил, в этом Павульгане?

А сам высох весь, как стручок перца. Пристукнут его бродяги, если он честно пошел против них.

— Сомневаетесь в его честности?

Старик промолчал. А когда Саитбаев повторил свой вопрос, он махнул сердито рукой.

— Э, чего говорить пустое!.. «Волосатые» совсем распустились, на людей кидаются, как бешеные собаки. А вы не замечаете. Вас не касается? В стороне стоите...

Покусывая сухую былинку, Саитбаев задумчиво глядел на взъерошенные холмы, окрашенные слабым багрянцем. Дали курились оранжевой пылью. Встряхнувшись от мимолетной грустинки, он потер ладонью лицо и поднялся.

— Вы правы, отец. Правы...

К чему он это сказал, Тургунбай не понял.

— А ну их, жуликов длинногривых! — в сердцах проворчал он и принялся разливать чай. — Давай лучше подкрепимся немного, а там и отдохнуть не грех...

Напившись чаю, Саитбаев ушел под навес и прилег. Но стоило ему закрыть глаза, как тотчас же минута за минутой вставал перед ним весь прожитый день. Откуда-то из пепельно-розовой дали выплыл мазар святого Абубакира, разрываемый молниями; на истертом тысячами ног полу лежали поверженные страхом посланцы Куримата, а над ними во всем величии и блеске — всевышний. В испуге и кошка может показаться чертом.

Однако Саитбаев не мог быть недовольным — учитель хорошо понял его мысль. Появиться надо было именно в момент дележа «наследства», не раньше, и ни минутой позже. В этом был тактический замысел оперативной задачи. И так, чтобы паломники выглядели при этом не богомольцами, а теми, кем они были — преступниками.

После всего случившегося на мазаре Абубакира мало найдется, пожалуй, простаков, продолжающих верить в его святость. Да и будут ли вообще приходить сюда паломники? И не только на мазар Абабакира? Этот случай буйным афганцем* пронесется над многими «святынями» и опалит их своим колючим зноем—разрушит веру в них и оттолкнет людей от бесчестных проповедников. Может, и Махмудов подумает по-иному о своем школьном товарище: не зря мыкается он в пыли и зное за ветром. Тайна святой могилы разоблачена. А в руки властей попали не только преступники, но и содержимое тайника, о существовании которого известно не было. Джура Насыров взял на себя главную и опасную часть

дела. Но ведь такого эффекта могло и не быть, если бы Федя Пестунов, сидевший в душном сарайчике, как под арестом, вдруг испугался или устал ждать и чем-то отвлекся, или задремал, наконец, и не принял сигнала учителя, опоздал нажать кнопку — все могло быть не так. Сам Алимджан в это время находился под горой и с волнением ждал. Как только сверкнула молния, на мазар устремилась толпа людей — это были уже не паломники, а жители соседних кишлаков...

— А за «салют» надо ожидать хороший фитиль, — грустно ухмыляясь, прошептал Саитбаев. — Ну что же, фитиль так фитиль — за дело. Стерплю. Только уж если за все взыскивать — надо учесть кое-что и другое: операция прошла гладко, без сопротивления, без стрельбы, без кровопролития, хотя оружия у противника было более чем достаточно; будь другая обстановка, он мог пустить его в дело... Суеверный страх оказался сильнее оружия и превратился в надежного помощника. И наконец, надо же было правоверным когда-нибудь увидеть аллаха. Мы с Насыровым помогли им, только и всего... Конечно, такие операции возможны только при надежной разведке. На разведчика я надеялся, он сработал отлично. Молодец, старина...

Он повернулся на спину и снова задумался, но улыбка, уже не грустная, а по-мальчишески озорная и вольная, долго еще не сходила с его лица. Где-то пропел петух. Саитбаев приподнял голову. Насторожился — петух больше не подавал голоса. Утомившись за день, Саитбаев уснул, но не надолго. Надорванный бас собаки поднял его на ноги.

— Что там еще такое? — сонно проворчал Тургунбай и, кряхтя, тоже поднялся. — Аллах посылает кого-то к нам. Слышишь, сынок?

Саитбаев не ответил: он знал, кого на этот раз посылает вездесущий аллах, и поэтому, разжигая костер, немного волновался.

— Перестань, глупая собака! — прикрикнул Тургунбай. — Если приходил негодяй — он удрал, как только услыхал твой голос. А если аллаху будет угодно, чтобы ко мне заглянул добрый человек, — он все равно придет и тебя, дурня, не испугается, — рассуждал караульщик.

На огонек занявшегося костра вышли люди. Их было трое: впереди — большой, заметно ссутулившийся человек в распоясанном халате. Шел он неуверенно и грузно, точно во хмелю, руки его были закинуты за спину. По

бокам у него с одной стороны шла женщина, держа в руках, как ружье, суковатую палку, с другой — косматый в рваном халате старик с кетменем на плече. Остановились у костра. Женщина, прикрыв полой чапана лицо, отвернулась от взгляда Саитбаева. Старик снял с плеча кетмень, поставил его к ноге и вздохнул. На его помятом, заросшем лице пробилась слабая улыбка.

— Сынок, да это же «волосатые»! — воскликнул Тургунбай с тревогой в голосе. — Я тебе говорю: они! А тот, толстый, — сам Мадарип-ишан. Да ты погляди как следует! Что же такое делается, аллах милостливый! И этот старый оборванец Рауф здесь. Как он мог попасть сюда, если мы только неделю назад отправили его в сумасшедший дом...

А Саитбаев как будто не слышал, строго и внимательно разглядывая ночных гостей.

— Салам алейкум, добрые люди, — наконец сказал старик с кетменем и, приложив руку к груди, поклонился.

— Валейкум ассалам, — ответил Саитбаев с подчеркнутой почтительностью. — Как ваше здоровье, Рауф-ата?



— Благодарение аллаху, все хорошо, таксыр. Грех погневаться. Хорошо, — повторил Рауф-хальфа, не переставая кланяться. Тургунбай растерялся. На его глазах творилось что-то противоестественное и непонятное. Он беспомощно разводил руками и удивленно охал.

— Благополучно, ничего не случилось плохого, — продолжал Рауф-хальфа. Затем мотнул головой в сторону ишана. — Женщина — это его... последняя жена Матлуба. У нее он гостил нынче. Хорошая женщина... Обижается сильно, надоело, говорит, быть женой нечестного человека, который всех обманывает. На людей совестно глядеть, а она ведь в колхозе... Вот и помогла...

Саитбаев поглядел на Тургунбая и понимающе ухмыльнулся.

— Все правильно. Так и должно быть, — сказал он.

— Ну а он-то при чем?! — с раздражением заметил Тургунбай. — Может, ты скажешь, что я не отправлял этого сумасшедшего в Коканд? Уж не я ли, сынок, схожу с ума? Скажи мне, сделай милость?

Рауф-хальфа то растерянно улыбался, то, недовольно хмурясь, сердился. Торопливо порывшись в халате, он добыл замусоленную газету и подал ее Тургунбаю.

— Читай, пожалуйста!

— Тьфу ты! И этот распространяет газеты. Что в газете написано — без тебя знаю. На митинге был, когда Алихан отрекался от вас, чертей... Нет, ты все-таки объясни мне, сынок?

— Всего, к сожалению, объяснить не могу. Долг службы не позволяет. Извините. Об одном готов поспорить — вы совершенно здоровы, отец. Ну и Рауф-ата тоже не больной. А в Коканд он попал не по адресу. По недоразумению чего не случается. На ходу пришлось исправлять чью-то ошибку. К счастью, вовремя, и поэтому было не очень трудно. А газету, которую вам только что предложил Рауф-ата, — она всем полезна. Газеты надо читать.

— Эх-хе, — вздохнул Тургунбай. — Ничего не видал? Ничего не слыхал? Ничего не знаю? Везде — ничего, да? А катаешься ты на своем железном ишаке, оказывается, не ради удовольствия. Теперь и я понимать кое-что начинаю. Конечно, если бы ты меня командировал к ним, толку бы, пожалуй, не было, а этот... — Он взглянул еще раз на Рауфа и, качая головой, промолвил: — Вот уж никогда бы не подумал...

— Спасибо, — сказал Саитбаев.

— К чему твое спасибо?

— Значит, сделано было надежно и как надо, если даже вы, такой опытный в жизни человек, не могли подумать.

Тургунбай не ответил, а лишь нахмурился и подошел к Мадарип-ишану.

— Ого, руки-то у него связаны!

— Связаны немножко, — смущенно проворчал Рауф.

— В целях предосторожности, — добавил Саитбаев. — Идут ночью, чтобы по нечаянности не задеть друг друга. В темноте хорошо только летучие мыши видят.

— Да-а, — неопределенно протянул Тургунбай. — Жизнь ничему не научила тебя, ишан. Ни-че-му... Вот и пришло время: кончай базар, — развел он руками, точно сказать уже было нечего.

Мадарип-ишан молчал, и, наверно, уже не вслушивался в то, о чем говорили люди. Он стоял так, словно возле него никого не было, словно не были связаны руки его, словно он был один на всем свете и стоял перед пещерой отшельника на горе Хара. Гордый потомок жестокого Худоярхана думал свою нелегкую думу.

— Рад за вас, отец, что вы поняли, — сказал Алимджан, прощаясь с Тургунбаем. За арыком их ожидала машина.

ЗДРАВСТВУЙ, ЧЕЛОВЕК!

Опустела убогая худжра в школьном саду, не курится возле нее дымок, не пахнет шурпой от холодного закопченого казана — никто не живет здесь, только птицы да мелкие грызуны безбоязненно роются в золе давно погасшего очага. Редко приходят сюда и ребята, а если и случается — только на одну минутку, для того чтобы найти нужный инструмент под навесом да еще, может, взглянуть на топчан, где вечерами сиживал с ними Душанба и слушал их рассказы, удивляющие его неистощимостью выдумки.

Саидка вполне оправился от пережитого испуга и теперь не разлучался с мальчишками. Ромка забросил свой костылек и с безудержным увлечением мечтал о новых подвигах — без этого он не может. Федя по-прежнему сидел возле своих питомцев в живом уголке и вдумчиво наблюдал за их во многом не разгаданной жизнью и, быть может, еще тайно сожалел, что нет в их живом уголке бурого мишки, каких выхаживали в

Сергаче знаменитые медвежатники; новых оперативных командировок у него пока не предвиделось. Иргаш, как фронтовой солдат, ходил в бинтах и все в той же, правда заметно поизносившейся, парадной фуражке. Казалось, он даже немного гордился своими повязками. Когда ребята спрашивали его, как заживает рана, он с эдакой взрослой небрежностью отвечал:

— Э, какая рана! Подумаешь... чуть-чуть царапнуло.

«Чуть-чуть царапнуло» — чем царапнуло: осколком снаряда или мины? Ну, это уже детали, кому как покажется, так и будет принято.

В общем, все были на своих местах. Даже Рауф-хальфа с его «святым петухом» был при деле — помогал птичницам на колхозной ферме, и называли его теперь просто и вместе с тем уважительно: Рауф-ата, при встрече неизменно приветствовали его: «Салам алейкум, Рауф-ата!», отчего он, казалось, становился моложе. Впрочем, его неопрятные седые космы и дервишская шапка — все это осталось, кажется, в бане.

Не было только Душанбы — как в воду канул, и никакого следа. Поначалу была уверенность, что он после схватки с Муслимом-дивоной в том ничейном саду ушел в кишлак Павульган по каким-то своим неотложным делам, и, пожалуй, только Саидка раньше чем другие проник в нереальную зыбкость такого предположения. Но он никому пока не говорил об этом, видимо, и у самого еще не было достаточной уверенности, а может быть, по привычной своей стеснительности молчал. А дни шли и шли — Душанба не появлялся. Саидку начинало тревожить это, и он решил поговорить с Рауфом-хальфой — не знает ли он куда мог уйти Душанба? Но бывший хальфа не внес ничего нового и утешительного в это дело, напротив, еще больше усложнил его. Он сказал, что друзей у Алихана среди сектантов нет, а те, кто его знал раньше и благоволил к нему — эти сейчас и близко не допустят его к себе. Идти ему некуда.

Когда Саидка рассказал ребятам все, что он передумал об исчезновении Душанбы, — тревога охватила уже всех и, пожалуй, больше, чем других — Джуру Насыровича. Оснований для тревожных раздумий было более чем достаточно: ведь это из его «подразделения» пропал человек, за которого он поручился своим авторитетом, совестью наставника. Персонажу мальчишеского воображения — Душанбе, человеку сложной и во многом неясной судьбы, он, учитель Насыров, доверил

не только школьный сад, но и то, за что только он один несет ответственность перед законом — своих учеников. А не могла ли вернуться к нему та прежняя и уже не напускная, а вполне реальная болезнь, какую он многие годы прививал себе и сумел достичь в этом заметных успехов? На этот вопрос учитель не мог получить точного ответа даже от своего старого приятеля доктора Мирзакула. Вполне возможно, сказал доктор, когда человек так долго и безжалостно испытывает свою нервную систему — можно ожидать чего угодно. Самая крепкая сталь изнашивается и теряет прочность, а человек...

А вот Тургунбай-ата был совсем другого мнения. Джура Насырович сам пришел к нему на бахчу, долго они беседовали, прикидывали так и эдак.

— Нет, уважаемый домла, — стоял на своем Тургунбай, — болезни никакой не заметил я в нем: неглупый, рассудительный и смелый он человек. А то, что пропал... тут мы с вами одни ничего не узнаем. Думаю, что старые дружки подкараулили его и свели счеты. Глубоко он раскорчевал поганое болото, всю его муть поднял кверху. А ишан ведь никому и ничего не прощает.

— Вот и я опасаюсь этого, — признался учитель.

— Может, аллах и накажет меня за грехи, а все равно скажу вам: не по душе мне эти косматые бездельники, потому и Алихана не жаловал, а вот как побродил с ним по гнилым топям Ажал-балчика, ночь — глаз выколи, без оружия, с одним ножом и палкой — вот тогда и понял его: ради ваших учеников он готов жизнь свою положить. Любит он этих сорванцов. Бросить их ни с того ни с сего — такое, уважаемый домла, на него не похоже... А чего мы гадаем? — спохватился старик, — надо к Алимджану сходить, рассказать, посоветоваться. Без него мы в таком деле не обойдемся.

— Нет Алимджана, — с грустью вздохнул учитель. — В отпуске...

Под старой дуплистой шелковицей во дворе у Саидки в это время шел серьезный разговор.

— Сколько прошло дней, а его нет, не появляется. Не приходит. Значит, совсем пропал — сказал Иргаш.

— А я не согласен! — возразил Роман. — Никуда он не пропал, а пошел остальных разыскивать. Не всех ведь еще задержали. Ого, я-то своими глазами видел, сколько их там собиралось. Где они?

— Они — дальше, — промолвил Саидка, — в Ошской области. Там свой «волосатый» ишан есть. Большой человек. А здесь мало — разбежались совсем, тихо сидят. Здесь старушки остались, тетеньки. Они людям не мешают, вреда не делают.

— Вот он и пошел в Ошскую, к киргизам чай пить,— озорно усмехнулся Роман. — А что? Конечно! Изловит того зловредного ишана и бари-бир!

— Душанба ни за какие коврижки не захочет связываться с ними, — заметил Федя. — Что они, эти киргизские волосатики, — большая родня ему? Они всю кровь ему испортили, он, чай, и во сне видит только их лохматые рожи. Хватит с него того, что они с ним сделали.

— Не об этом разговор, чего спорить? — прервал Иргаш. — Почему домой не пришел? Почему никому не сказал? Почему?.. Вот об этом и говорить надо.

— Чего говорить? Болтовня, — сказал Саидка. — Искать надо, дело делать надо.

Иргаш, вытянув забинтованную ногу, недовольно и хмуро поглядывал на ослепительную белизну повязки; он думал и глубоко сожалел, что не может вот сейчас же, в эти минуты сделать что-то серьезное и важное, и необходимое.

— Пойду, — поднялся Саидка. — Места знаю, где они укрывались. Ошского большого ишана тоже знаю. В Намангане одного знаю. Туда — потом. Сперва тут надо искать.

— Ромка, как нога? — спросил Иргаш.

— Железная! — притопнул башмаком Роман.

— Пойдешь с ним. И ты, Сергач, пойдешь. Вместе. Всем надо искать. Нельзя, чтобы Душанба пропал, потерялся или тяжело заболел и где-то упал — никак нельзя. За черепахами, ежами и змеями я погляжу. Накормлю всех, не думай...

Неловко и, пожалуй, даже стыдно было Иргашу разговаривать так с ребятами, не в его характере оставаться в стороне от такого дела, когда нужно проявить решимость и показать все, на что ты способен. Но ребята понимали его и слушали, как всегда. Он же, поглаживая ногу, глядел куда-то в сторону, туда, где поднимались глинобитные стены сарая, не достроенного Муслимом-дивоной. Глядел на эти серые стены, но видел что-то совсем другое.

— Сейчас пойдем? — спросил Федя.

— Ночью. Когда немножко светать станет, — ответил Саидка.

— Ночью хорошо, никто не видит. Спать немножко в худжре будем. Лепешку из дома брать надо, чай немножко тоже надо...

И вот уже все решено, все разложено по полочкам. Взволнованные необычностью дела, мальчишки стоят перед Иргашем и ждут последней команды, а он стоит перед ними, слегка приподняв пораненную ногу, и тоже волнуется.

— Ничего не забыли?

Но... как-то сердито и отрывисто брякнула калитка, и во двор вбежал учитель.

— Вот вы где, заговорщики! Замаскировались. А ну-ка докладывайте, что у вас здесь за сходка? — И трудно было сразу уловить, чего было больше в словах учителя: строгости или умело скрываемой усмешки. Ребята даже чуть подрастерялись.

— Искать ведь надо, Джура Насырович, — не без колебания ответил Иргаш. — Забыть — нельзя, не можем.

— Та-ак, понятно, именно это я и предполагал, — учитель помолчал немного, затем, нарочито строго поглядев то на одного, то на другого, приказал: — А ну-ка отставить всякие ваши приготовления! Заговорщики. Письмо пришло в школу. Понятно?.. Душанба пишет вам!

— Душанба?! Ура-а!.. — закричали мальчишки, сбитые с толку неожиданной новостью.

Учитель развернул письмо и стал читать.

«...Вначале хочу сказать вам: катта рахмат! Спасибо за все доброе и хорошее, что вы с таким терпением и верой отдавали мне, забывая о себе, о своем отдыхе, о своих играх и увлечениях. Когда я вспоминаю эти минуты, мне становится очень стыдно, дорогие ребята. Стыдно до слез за все мое грязное непутевое прошлое. Я приговорил себя к мучительной смерти, чтобы искупить грехи свои, но вы прогнали от меня эту жестокую и безглазую старуху, заставили поверить, что жизнь — прекрасная штука, когда она честная и правильная. Если бы я не принял от вас вызова, я остался бы подлецом и трусом и умер бы где-нибудь на болоте, в тугаях. Однако, чтобы стать человеком, надо сперва завоевать право называться им. И вот если бы я остался в школьном саду — там хорошо было мне, спокойно, — я никогда не оправ-

дал бы доверия, какое мне оказали люди. Поэтому я ушел. Вы поймете и простите меня.

Живу я теперь неблизко от вас — в Голодной степи. Вы знаете, какая это степь. Работа у меня хорошая. Строим большой совхоз на вековой целине. Когда построим, эта бедная земля, сжигаемая солнцем, сказочно расцветет и разбогатеет. Здесь будет много хлопка, винограда, айвы — всего будет очень много. Рядом со мной работают хорошие люди. Добрые и честные. С ними легко и радостно даже тогда, когда очень устаешь. Простите меня, мои дорогие друзья, мои родные ребята. Большой привет нашему учителю! А еще — дедушке Тургунбаю.

Ваш Душанба — Алихан Рузыев».

Ребята молчали, в письме для них была не только радость... Может, учитель что-нибудь скажет? Но учитель тоже молчит и тихо улыбается. Значит, Душанба поступил правильно. Если что не так — учитель хмурится. Он бы и письмо не стал читать вслух.

Джура Насырович бережно вложил в конверт письмо Душанбы и подал Иргашу.

— Ответить надо.

— Ответить?! — встрепенулся Иргаш. — Ну конечно! А как мы найдем его? Письмо наше найдет Душанбу?

— Обязательно. Человека нельзя потерять, ребята. За настоящим человеком идут его дела и добрая слава. А след такой — на всю жизнь...



ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Эпиграф *Кааба* — мусульманская святыня в Мекке.
Азан (азон) — призыв муэдзина на молитву.
Михраб — ниша в мечети, где во время моления находится имам (духовник).

Стр. 8. *Бари-бир* — все равно (узб.).

Стр. 9. *Тугаи* — заросли кустарников и древесных пород в поймах рек.

Стр. 18. *Бедана* — перепелка (узб.).

Стр. 20. *Рахмат* — спасибо (узб.).
Вильбок — кушак, пояс (узб.).

Стр. 23. *Дивона* — сумасшедший, помешанный на религиозной почве.
Кибитка — дом, жилище (узб.).

Стр. 25. *Айван* — открытая галерея, терраса (узб.).
Тандыр — особая печь для выпекания лепешек.
Гузапая — сухие стебли хлопчатника (узб.).

Стр. 28. *Сви* — ручей, речка.
Вахши — дикий, дикарь (узб.).

Стр. 29. *Курбаши* — предводитель банды басмачей.
Курирмат — буквально: кривой (одноглазый(Ирмат (узб.).
Хальфа — ученик и проповедник аллаха.
Дервиш — мусульманский нищенствующий монах.
Мюрид — послушник, последователь ишана, шейха.
Кяфир — неверный, иноверец.
Ишан — духовное лицо, глава мусульманской общины.
Палван (полван) богатырь, силач (узб.).

Стр. 32. *Таксыр* — господин.

Стр. 35. *Табиб* — лекарь.

Стр. 37. *Дастархан* — буквально: скатерть (узб.).

Стр. 40. *Джанджал* — скандал, шум, ссора.

Стр. 44. *Махалля* — уличный квартал (узб.).

Стр. 60. *Тумар* — амулет (узб.).

Стр. 63. *Ака* — старший брат (почтительное обращение) (узб.).

Стр. 69. *Ата (ота)* — отец.

Стр. 73. *Фатыха (фатиха)* — глава из Корана, читаемая как молитва.
Назир — милостыня, подаяние.
Стр. 74. *Курсак* — живот (брюхо, желудок).
Стр. 76. *Джихад* — священная война.
Пир — старец, духовный наставник.
Стр. 77. *Иблис* — сатана, дьявол.
Стр. 78. *Намаз* — моление, молитва.
Стр. 80. *Худжра* — келья, хижина.
Стр. 87. *Турсук* — шкура животного, надуваемая воздухом, используется для переправы через водные преграды.
Стр. 88. *Нас* — жевательный табак (узб.).
Стр. 89. *Зороастризм* — религия древних народов Ирана, Средней Азии, Азербайджана.
Той — торжественный пир в честь какого-нибудь события.
Стр. 92. *Идора* — контора (служебное помещение) (узб.).
Стр. 94. *Домла* — здесь: учитель (узб.).
Стр. 101. *Пичах* — нож.
Стр. 123. *Катта начальник* — большой начальник (узб.).
Мираб — поливальщик (распределитель воды).
или могила с возведенным над ней сооружением.
Юзбаши — сотник (узб.).
Стр. 146. *Самса* — пирожок (узб.).
Стр. 157. *Хошар* — народная помощь (узб.).
Стр. 158. *Ураза* — пост.
Мураб — поливальщик (распредитель воды).
Джура — приятель, друг (узб.).
Стр. 159. *Четак* — происшествие (ЧП).
Стр. 169. *Супа (сопа)* — обычно глиняное возвышение в саду, предназначенное для отдыха и чаепития (узб.).
Стр. 172. *Мехмонхона* — комната для приема гостей, гостиная.
Стр. 178. *Кукнар, анаша* — наркотики.
Стр. 181. *Раис* — председатель.
Стр. 187. *Курбан-хаит* — мусульманский праздник.
Стр. 188. *Мутавалли* — староста мечети.
Узбекбрляшу — потребительская кооперация.
Стр. 189. *Камча* — нагайка (плетка).
Стр. 190. *Азанчи* — духовное лицо, призывающее верующих на молитву (муэдзин).
Стр. 200. *Бекасам* — специальная ткань, из которой шьют узбекские халаты.
Стр. 210. *Афганец* — ветер (пыльная буря), дующий порой по нескольку дней, несущий тучи песка.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Для детей старшего и среднего
школьного возраста

Константин Андреевич
КИСЛОВ

ТАЙНЫ КАМЫШОВЫХ
ЗАРОСЛЕЙ

Редактор Н. Н. Ступишина
Худож. редактор В. З. Вешапури
Техн. редактор К. А. Захаров
Корректор О. А. Гаркавцева

ИБ № 1230

Сдано в набор 05.01.83.
Подписано к печати
ФЕ05062.
Формат 84 x 108 1/32 Бумага типографская № 3.
Гарнитура «Школьная». Печать высокая.
Усл-печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 12,65.
Тираж 50 000 экз. Заказ № 129. Цена 30 коп.

Волго-Вятское книжное издательство, 603019, Горький, Кремль, 4-й корпус.

Кировская областная типография управления издательств полиграфии и книжной торговли, 610000, г. Киров, Динамовский проезд, 4.